Сэмюэл Батлер

# *Путь всякой плоти*

Роман

Сэмюэл Батлер

# Путь всякой плоти. Роман

«Издательские решения»

**Батлер С.**

Путь всякой плоти. Роман / С. Батлер — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854272-5

«Путь всякой плоти», автобиографический роман английского писателя Сэмюэля Батлера (1835—1902), входит в число ста самых читаемых англоязычных произведений. Это история четырех поколений семьи главного героя, который после окончания Кембриджского университета порывает со своей средой, пытается найти счастье в любви, переживает крушение иллюзий и, наконец, обретает стойкость и душевное равновесие. В переводе Л. Чернышевой и А. Тарасовой роман был издан в 2009 г. в серии «Литературные памятники».

ISBN 978-5-44-854272-5

© Батлер С.
© Издательские решения

# Содержание

Глава 1 6
Глава 2 9
Глава 3 12
Глава 4 15
Глава 5 18
Глава 6 22
Глава 7 25
Глава 8 28
Глава 9 32
Глава 10 34
Глава 11 36
Глава 12 40
Глава 13 44
Глава 14 48
Глава 15 51
Глава 16 53
Глава 17 57
Глава 18 59
Глава 19 63
Глава 20 66
Глава 21 68
Глава 22 70
Глава 23 73
Конец ознакомительного фрагмента. 76

# Путь всякой плоти
# Роман

## Сэмюэл Батлер

*Переводчик* Лариса Александровна Чернышева
*Переводчик* Анна Константиновна Тарасова

© Сэмюэл Батлер, 2017
© Лариса Александровна Чернышева, перевод, 2017
© Анна Константиновна Тарасова, перевод, 2017

ISBN 978-5-4485-4272-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Перевод с английского
Л. Чернышевой и А. Тарасовой.
© Л. Чернышева. Перевод и примечания. 2017
© А. Тарасова. Перевод. 2017

# Глава 1

С того времени в начале века, когда я был маленьким мальчиком, я помню старика, который в бриджах и шерстяных чулках ковылял обычно по улице нашей деревни, опираясь на палку. В 1807 году ему было, должно быть, лет восемьдесят, а раньше, думаю, я вряд ли мог его помнить, поскольку сам родился в 1802 году. Поредевшие седые пряди свисали ему на уши, спина его была согбенна, колени дрожали, но он был еще довольно бодр и пользовался большим уважением в мирке нашего Пэйлхэма. Звали его Понтифекс.

Поговаривали, что он в подчинении у своей жены. Мне рассказывали, что он взял за ней кое-какое приданое, но это не могли быть большие деньги. Она была рослой, статной (я слышал, как мой отец называл ее монументальной женщиной) и добилась, чтобы мистер Понтифекс женился на ней, когда он был молод и слишком добродушен, чтобы сказать «нет» женщине, которая на него претендовала. Их совместная жизнь оказалась вполне счастливой, поскольку характер у мистера Понтифекса был легкий, и он быстро научился смиряться со своенравными причудами своей жены.

По профессии мистер Понтифекс был плотником, одно время он также вел приходские книги. Однако в ту пору, когда я знал его, он уже достиг такого прочного положения, что ему не приходилось зарабатывать на жизнь физическим трудом. В молодости он сам выучился рисовать. Не скажу, что рисовал он хорошо, но всё же делал он это на удивление неплохо. Мой отец, получивший приход в Пэйлхэме приблизительно в 1797 году, стал обладателем довольно большого собрания рисунков старого мистера Понтифекса, которые все были на местные сюжеты и выполнены с такой неподдельной искренностью и тщанием, что их можно было принять за работы какого-либо из настоящих старых мастеров. Помню их висящими в застекленных рамах в кабинете отца, где на них, как и на всем в этой комнате, лежало отражение зелени плюща, окаймлявшего окна. Интересно, что с ними станется, когда они закончат свое существование в качестве рисунков, в какие новые стадии бытия они тогда перейдут.

Не довольствуясь ролью художника, мистер Понтифекс решил попробовать себя и в роли музыканта. Он собственноручно изготовил орган для церкви, и еще один, поменьше, установил у себя в доме. Он играл так же, как и рисовал: не очень хорошо по профессиональным меркам, но намного лучше, чем можно было бы ожидать. У меня рано проявилась любовь к музыке, и старый мистер Понтифекс, вскоре заметив это, стал относиться ко мне с благосклонностью.

Может показаться, что, берясь за столько дел сразу, он вряд ли мог стать очень уж преуспевающим человеком, но это совсем не так. Его отец был поденщиком, и мистер Понтифекс вступил в жизнь, не имея иного капитала, кроме здравого смысла и крепкого здоровья. Теперь же у него во дворе имелся изрядный запас древесины, а все его хозяйство производило впечатление надежного благополучия. К концу XVIII века, незадолго до того, как мой отец поселился в Пэйлхэме, мистер Понтифекс приобрел участок земли примерно в девяносто акров, тем самым существенно упрочив свое положение в обществе. Вместе с участком в его собственность перешел старомодный, но уютный дом с прелестным садом и огородом. Плотницкие работы теперь выполнялись в одной из надворных построек, бывших некогда частью какого-то монастыря, остатки зданий которого виднелись в месте, называемом «монастырским подворьем». Сам дом, увитый жимолостью и плетистыми розами, являлся украшением всей деревни, и внутреннее его убранство было столь же образцовым, сколь живописным был его вид. Ходили слухи, что миссис Понтифекс крахмалила простыни для своей супружеской постели, и я вполне могу в это поверить.

Как хорошо я помню ее гостиную, наполовину занятую органом, который смастерил ее муж, и напоенную ароматом засохших плодов с растущего возле дома куста pyrus japonica; картину над каминной полкой с изображением призового быка, которую написал мистер Понти-

фекс; нарисованную на стекле фигуру мужчины, вышедшего с лампой к карете в снежную ночь, также произведение мистера Понтифекса; изображения старичка и старушки на барометре; фарфоровых пастуха с пастушкой; кувшины с похожими на перья стебельками цветущих трав и вставленными между ними для украшения несколькими павлиньими перьями, а также фарфоровые чашки, наполненные лепестками роз, засушенными с крупицами морской соли. Все давно исчезло и стало воспоминанием, поблекшим, но все еще сладостным для меня.

Памятна мне и ее кухня, и похожий на пещеру погреб за ней, в сумраке которого мимолетный взгляд различал поблескивание молочных бидонов или светившиеся белизной руки и лицо молочницы, снимающей сливки. И еще кладовая, где в числе прочих сокровищ миссис Понтифекс хранила знаменитую мазь для смягчения губ – предмет ее особой гордости; баночкой этой мази она ежегодно одаривала тех, кого желала удостоить такой чести. За пару лет до своей смерти она записала и дала моей матери ее рецепт, но у нас мазь никогда не удавалась так, как у нее. Когда мы были детьми, миссис Понтифекс порой, вместе с приветами нашей матушке, посылала нам приглашение на чашку чаю. И уж угощала она нас на славу! Что же касается ее характера, то никогда в жизни не встречали мы такой восхитительной пожилой дамы: чего бы там ни приходилось, возможно, терпеть мистеру Понтифексу, но у нас не было никаких оснований жаловаться. А после чая мистер Понтифекс обычно играл для нас на органе, и мы, стоя вокруг него, разинув рты, думали, что он самый замечательный и умный человек, когда-либо рождавшийся на свет, за исключением, конечно, нашего папы.

Миссис Понтифекс не обладала чувством юмора – по крайней мере, я не могу припомнить ни одного его проявления, – а вот ее муж был весьма не прочь пошутить, хотя немногие догадались бы об этом по его облику. Помню, как отец однажды послал меня к нему в мастерскую взять немного клея, и мне случилось явиться в тот момент, когда старик Понтифекс распекал своего подмастерье. Он держал парня – юного олуха – за ухо, приговаривая:

– Что, пропащий, опять разум затмило? – Полагаю, этот малый и сам считал себя заблудшей душой, а потому старик и назвал его пропащим. – Ну, так слушай, мой мальчик, – продолжал он, – иные ребята родятся тупыми, и ты один из них; иные становятся тупыми, и ты, Джим, опять же в их числе: ты уродился тупым, да еще и весьма приумножил свое прирожденное свойство, а в некоторых, – и здесь наступил кульминационный момент, в продолжение которого голова и ухо парня мотались из стороны в сторону, – тупость вколачивают, чего с тобой, даст Бог, не случится, мой мальчик, потому что я выколочу из тебя тупость, пусть мне и придется ради этого выдрать тебя как следует за уши.

Но я не заметил, чтобы старик действительно драл Джима за уши, да и стращал-то он его скорее для виду, так как эти двое прекрасно ладили друг с другом. В другой раз, помню, он звал деревенского крысолова, говоря: «Иди-ка сюда, ты, три-ночи-и-три-дня», – намекая, как я узнал потом, на длительность запоев этого крысолова. Но не стану далее распространяться о таких пустяках. Лицо моего отца всегда прояснялось при упоминании старика Понтифекса.

– Уверяю тебя, Эдвард, – говорил он мне, – старик Понтифекс был не просто способным человеком, но одним из самых способных людей, которых я когда-либо знал.

С этим я, будучи человеком молодым, никак не готов был согласиться.

– Дорогой батюшка, – отвечал я, – что такого он совершил? Немного рисовал, но разве смог бы он, даже ради спасения собственной души, создать картину для выставки в Королевской академии? Он соорудил два органа и мог сыграть менуэт из «Самсона» на одном и марш из «Сципиона» на другом, был хорошим плотником и умел пошутить; довольно милый старик, но зачем представлять его гораздо более способным, чем он был на самом деле?

– Мой мальчик, – возражал отец, – ты должен судить не по самой работе, но по работе в ее связи с обстоятельствами. Подумай, могли бы Джотто или Филиппо Липпи выставить какую-либо свою картину в Академии? Имеет ли какая-нибудь из тех фресок, которые мы видели, будучи в Падуе, хоть малейший шанс попасть на выставку, если послать ее туда теперь? Да

ведь эти академики так бы возмутились, что даже не соизволили бы написать бедному Джотто, чтобы он приехал и забрал свою фреску. Да уж, – продолжал он, всё более горячась, – будь у старика Понтифекса возможности Кромвеля, он бы совершил все, что совершил Кромвель, и куда лучше; будь у него возможности Джотто, он сделал бы все, что сделал Джотто, и ничуть не хуже. Так уж вышло, что он был деревенским плотником, но я беру на себя смелость утверждать, что за всю свою жизнь он никогда не делал ни одного дела спустя рукава.

– Но мы не можем, – отвечал я, – судить о людях с учетом столь многих «если». Если бы старик Понтифекс жил во времена Джотто, он мог бы стать другим Джотто, но он не жил во времена Джотто.

– Уверяю тебя, Эдвард, – говорил мой отец, посуровев, – мы должны судить о людях не столько по тому, что они делают, сколько по тому, заставляют ли они нас почувствовать, что они в состоянии сделать. Если человек, занимаясь живописью, музыкой или житейскими делами, сумел заставить меня почувствовать, что я могу положиться на него в трудных обстоятельствах, он сделал достаточно. Не по тому, что человек в самом деле нанес на свой холст, и даже не по действиям, которые он совершил, так сказать, на холсте своей жизни, стану я судить о нем, а по тому, заставляет ли он меня почувствовать то, что чувствовал сам и к чему стремился. Если он заставил меня почувствовать, что считает достойными любви те же вещи, которые и я считаю достойными любви, то большего и я не требую. Его язык, возможно, был несовершенен, но всё же я понял его; мы с ним в согласии. И повторяю, Эдвард, старик Понтифекс был не просто способным человеком, но одним из самых способных людей, которых я когда-либо знал.

На это возразить было нечего, да и сестры взглядами призывали меня умолкнуть. Мои сестры всегда выражением глаз призывали меня к молчанию, когда у меня заходили споры с отцом.

– Поговорим о его преуспевающем сыне, – сердито ворчал отец, которого я порядком-таки разозлил, – он недостоин сапоги своему отцу чистить. У него тысячи фунтов в год, тогда как его отец имел к концу жизни, может, в год тысячи три шиллингов. Он преуспевающий человек, но его отец, ковыляющий по улице Пэйлхэма в своих серых шерстяных чулках ручной вязки, в широкополой шляпе и коричневом сюртуке, стоил сотни Джорджей Понтифексов, несмотря на все эти экипажи, лошадей и важный вид, какой его сын на себя напускает. Впрочем, – добавил он, – Джордж Понтифекс не так уж и глуп.

И на этом мы переходим ко второму поколению семейства Понтифекс, которым теперь нам предстоит заняться.

# Глава 2

Старый мистер Понтифекс женился в 1750 году, но в продолжение пятнадцати лет жена так и не родила ему детей. По истечении этого срока миссис Понтифекс удивила всю деревню, обнаружив явные признаки готовности подарить мужу наследника или наследницу. Ее случай давно считали безнадежным, а потому, когда она, обратившись к врачу по поводу определенных симптомов, получила разъяснение относительно их смысла, то очень рассердилась и, не стесняясь в выражениях, выбранила доктора за то, что он несет чепуху. Она не пожелала даже хотя бы нитку в иголку вдеть за все время, предшествующее родам, и они застали бы ее совершенно врасплох, если бы соседи, понимавшие ее состояние лучше ее самой, не приготовили нужных вещей, ничего не говоря ей об этом. Возможно, она боялась Немезиды, хотя, безусловно, не знала, кто или что такое Немезида. Возможно, она боялась, что врач ошибся, и над ней станут смеяться. Но какова бы ни была причина ее отказа признать очевидное, она отказывалась признать его до тех пор, пока однажды в снежную январскую ночь со всей возможной поспешностью по непроезжим деревенским дорогам не помчались за врачом. Когда он прибыл, то застал уже не одного, а двух пациентов, нуждавшихся в его помощи, так как родился мальчик, которого в надлежащее время окрестили, назвав Джорджем в честь царствовавшей тогда особы.

Насколько я понимаю, Джордж Понтифекс унаследовал основные черты характера от этой упрямой пожилой дамы, своей матери – матери, которая, хоть и не любила никого на свете кроме мужа (да и его лишь на свой особый лад), чрезвычайно нежно привязалась к этому нежданному позднему ребенку, пусть и редко это выказывала.

Мальчик вырос в крепкого ясноглазого паренька, очень рассудительного и проявляющего, пожалуй, немного чрезмерную тягу к учебе. Дома с ним обходились мягко, и он любил отца с матерью в той мере, в какой его натуре было доступно любить кого-либо, но больше он не любил никого. Он прекрасно понимал, что значит meum[1], и весьма слабо – что значит tuum[2]. Поскольку он рос на свежем здоровом воздухе в одной из самых удачно расположенных деревень Англии, то его детское тело получило достаточное развитие, к тому же в те времена детские мозги не перегружали занятиями так, как теперь; возможно, именно по этой причине мальчик проявлял жадный интерес к учебе. В семь-восемь лет он читал, писал и считал лучше, чем кто-либо из мальчиков его возраста в деревне. Мой отец еще не был тогда приходским священником в Пэйлхэме и не знал Джорджа Понтифекса в детстве, но я слышал, как соседи рассказывали ему, что мальчик производил впечатление необыкновенно смышленого и не по годам развитого. Его родители, естественно, гордились своим отпрыском, при этом мать была убеждена, что в один прекрасный день ее сын станет одним из сильных мира сего.

Однако одно дело – решить, что твой сын добьется каких-то великих жизненных благ, и совсем другое – улаживать на этот счет дела с фортуной. Джордж Понтифекс мог бы получить профессию плотника, и весь его успех мог состоять лишь в том, что он унаследовал бы от отца положение одного из второстепенных магнатов Пэйлхэма, и все же он сделался бы более преуспевающим человеком, чем стал на самом деле, ибо, полагаю, нет прочнее успеха в этом мире, чем тот, который выпал на долю старых мистера и миссис Понтифекс. Но случилось так, что приблизительно в 1780 году, когда Джорджу было пятнадцать лет, в Пэйлхэм приехала погостить на несколько дней сестра миссис Понтифекс, бывшая замужем за мистером Фэйрли. Мистер Фэйрли был издателем, в основном, книг религиозного содержания, и имел контору на Патерностер-роу. Он сумел подняться по общественной лестнице, и его жена поднялась

[1] meum – мое (лат.)

[2] tuum – твое (лат.)

вместе с ним. Сестры годами не поддерживали особенно тесных отношений друг с другом, и я забыл, как получилось, что мистер и миссис Фэйрли оказались гостями в тихом, но чрезвычайно уютном доме четы Понтифекс. По какой-то причине визит все же состоялся, и вскоре маленький Джордж сумел снискать расположение дяди и тети. Живой, смышленый, хорошо воспитанный мальчик крепкого сложения, сын почтенных родителей обладает потенциальными достоинствами, которые вряд ли останутся незамеченными опытным деловым человеком, нуждающимся в многочисленных подчиненных. Накануне отъезда мистер Фэйрли предложил родителям мальчика приобщить его к своему делу, пообещав к тому же, что, если тот хорошо проявит себя, то ему не придется искать кого-то, кто поможет ему выдвинуться. Миссис Понтифекс принимала слишком близко к сердцу интересы сына, чтобы отклонить такое предложение, а потому дело скоро уладили, и примерно недели через две после отъезда супругов Фэйрли Джордж отправился в почтовой карете в Лондон, где был встречен дядей и тетей, у которых ему, как было условлено, предстояло жить.

Таково было многообещающее начало жизненной карьеры Джорджа. Теперь он одевался более модно, чем прежде, а некоторая деревенская простота манер и речи, усвоенная в Пэйлхэме, исчезла без следа так стремительно, что вскоре уже стало невозможно обнаружить следы того, что он был рожден и воспитан в иной среде, чем та, какую принято называть образованной. Мальчик проявлял большое старание в работе и более чем оправдал благоприятное мнение, составленное о нем мистером Фэйрли. Иногда мистер Фэйрли отпускал его на несколько дней в Пэйлхэм, и вскоре родители заметили, что он приобрел вид и манеру речи, отличные от тех, с какими покинул Пэйлхэм. Они гордились им и быстро поняли свое место, отказавшись от всякой видимости родительского контроля, в котором и в самом деле не было никакой нужды. Джордж, в свою очередь, был всегда к ним добр и до конца жизни сохранял к отцу и матери теплое чувство, какого, по-моему, не испытывал более ни к одному мужчине, женщине или ребенку.

Посещения Джорджем Пэйлхэма никогда не бывали длительными, так как расстояние от Лондона составляло менее пятидесяти миль, и поскольку имелся прямой дилижанс, то поездка не представляла труда. Вследствие краткости встреч ощущение новизны не успевало изгладиться ни у молодого человека, ни у его родителей. Джорджу нравились свежий деревенский воздух и зеленые поля – после сумрачности, к которой он так долго привыкал на Патерностер-роу, являвшей собой тогда, как и теперь, скорее узкий темный переулок, чем улицу. Помимо удовольствия видеть знакомые лица фермеров и деревенских жителей, ему нравилось также показать себя и услышать похвалы тому, что он превратился в такого видного и удачливого молодого человека, ибо он был не из тех юношей, кто таит свои успехи под спудом. Дядя заставил его по вечерам заниматься латынью и греческим. Эти языки дались ему легко, и он быстро овладел тем, на что у многих мальчиков уходят годы. Полагаю, познания наделяли его самоуверенностью, которая обнаруживалась независимо от того, хотел он этого или нет. Во всяком случае, скоро он начал изображать из себя знатока литературы, а от этого недалеко было и до признания себя знатоком искусства, архитектуры, музыки и всего прочего. Подобно своему отцу, он знал цену деньгам, но при этом был более тщеславен и менее щедр, чем отец: уже юношей был этаким обстоятельным малым и взял себе за правило руководствоваться принципами, испробованными на личном опыте и себя оправдавшими, а не теми глубокими убеждениями, которые у его отца были настолько естественны, что он даже не отдавал себе в них отчета.

Его отец, как я уже говорил, им восхищался и предоставил ему идти своим путем. Сын все более от него отдалялся, и отец без лишних слов отлично это понимал. По прошествии нескольких лет он усвоил привычку надевать свою лучшую одежду всякий раз, как сын приезжал навестить его, и не позволял себе сменить ее на обычный костюм до тех пор, пока молодой человек не отправлялся обратно в Лондон. Думаю, старый мистер Понтифекс наряду с гордо-

стью и любовью испытывал также некоторый страх перед сыном, как перед существом, ему совершенно непонятным, чей образ мыслей, несмотря на внешнее согласие, был, тем не менее, чужд его собственному. Миссис Понтифекс ничего подобного не чувствовала; для нее Джордж был чистым и абсолютным совершенством, и она с удовольствием отмечала, или ей так казалось, что и чертами лица, и характером он походит более на нее и ее родственников, чем на ее мужа и его родных.

Когда Джорджу исполнилось лет двадцать пять, мистер Фэйрли взял его в компаньоны на весьма выгодных условиях. Ему не пришлось сожалеть об этом шаге. Молодой человек привнес свежую энергию в дело, которое и до того уже успешно развивалось. К тридцати годам доля прибыли Джорджа составляла не менее полутора тысяч фунтов в год. Два года спустя он женился на девушке, семью годами его моложе, которая принесла ему большое приданое. Она умерла в 1805 году, после того как родила младшую из их дочерей, Алетею, а ее муж так более и не женился.

# Глава 3

В первые годы текущего столетия пятеро маленьких детей в сопровождении двух нянь стали периодически бывать в Пэйлхэме. Нет нужды говорить, что это было подрастающее поколение Понтифексов, к которому двое стариков – их бабушка и дедушка – относились с такой ласковой почтительностью, словно те были детьми лорда-наместника графства. Детей звали Элиза, Мария, Джон, Теобальд (который, как и я, родился в 1802 году) и Алетея. Мистер Понтифекс всегда добавлял к их именам слова «мистер» или «мисс», за исключением Алетеи, которая была его любимицей. Устоять перед внуками ему было так же невозможно, как перед своей женой. Даже старая миссис Понтифекс пасовала перед детьми собственного сына и предоставляла им неограниченную свободу, какой никогда бы позволила даже моим сестрам и мне, хотя мы пользовались у нее почти таким же расположением. От них требовалось соблюдать только два правила: хорошенько вытирать башмаки, входя в дом, не слишком раздувать мехи органа мистера Понтифекса и не вынимать из него трубы.

Для нас, детей приходского священника, не было события более долгожданного, чем ежегодные приезды в Пэйлхэм младших Понтифексов. Нам доставалась часть их полной свободы, мы приходили на чаепитие к миссис Понтифекс, чтобы встретиться с ее внуками, а потом приглашали наших юных друзей выпить чаю у нас, и вообще мы, на наш взгляд, отлично проводили время. Я отчаянно влюбился в Алетею, да и все мы были влюблены друг в друга, открыто и без всякого стеснения отстаивая даже в присутствии наших нянь право на многоженство и обмен женами и мужьями. Нам было очень весело, но это было так давно, что я забыл почти все, кроме того, что нам действительно было очень весело. Едва ли не единственное впечатление, которое навсегда останется со мной, это то, как однажды Теобальд ударил свою няню и стал дразнить ее, а когда она сказала, что уйдет, выкрикнул: «Не уйдешь – я не отпущу тебя и буду мучить».

Но однажды зимним утром 1811 года, одеваясь в своей детской, мы услышали погребальный звон церковного колокола, и нам сказали, что это звонят по старой миссис Понтифекс. Сказал нам об этом наш слуга Джон и добавил с мрачной шутливостью, что в колокол звонят, чтобы люди пришли и унесли ее. У нее случился удар, который парализовал ее и стал причиной внезапной кончины. Это явилось для нас подлинным потрясением, а тут еще и наша няня принялась уверять нас, что, если бы Бог захотел, у нас у всех в тот же самый день мог бы случиться удар, и мы бы прямиком попали на Страшный Суд. Страшный же Суд, по мнению тех, кто лучше всех мог быть осведомлен на этот счет, ни при каких обстоятельствах не должен был наступить позднее чем через несколько лет, и тогда весь мир оказался бы сожжен, а мы сами – осуждены на вечные муки, если не исправим пути наши, что в настоящее время, похоже, не слишком-то стремимся исполнить. Все это так напугало нас, что мы принялись вопить и подняли такой гвалт, что няня была вынуждена ради собственного спокойствия отказаться от своих уверений. Тогда, при упоминании о том, что отныне старая миссис Понтифекс уже больше не пригласит нас на чай с пирожными, мы заплакали, но уже более сдержанно.

А в день похорон мы пережили сильнейшее волнение. Старый мистер Понтифекс, следуя обычаю, еще сохранявшемуся кое-где в начале нынешнего века, разослал всем жителям деревни дешевые булочки, которые называли «хлебом скорби». Мы ничего не знали об этом обычае, и хотя часто слышали о таких булочках, никогда прежде их не видели. И вот мы получили их как и все жители деревни, с нами обошлись, как со взрослыми, ведь и наши отец с матерью, и слуги, все получили по такой булочке, по одной на каждого. До этого мы и не подозревали, что можем считаться полноправными жителями деревни. В довершение всего булочки были свежими, а мы необычайно любили свежий хлеб, который нам позволяли есть в исключительно редких случаях, поскольку считалось, что он нам вреден. Итак, любовь

к нашему старому другу должна была противостоять множеству ударов – интересу к старине, праву гражданства и собственности, заманчивости вида и приятности вкуса тех маленьких булочек, а также чувству нашей значимости вследствие близости с человеком, который только что умер. В результате расспросов выяснилось, что у кого-либо из нас мало оснований ожидать близкой смерти, а раз так, нас вполне устраивало то, что на кладбище снесут кого-то другого. Таким образом, мы за короткий срок перешли от великого уныния к не менее великому возбуждению; нам открылись новое небо и новая земля в предвидении возможного блага от смерти наших друзей, и, боюсь, в течение некоторого времени мы проявляли повышенный интерес к состоянию здоровья каждого жителя деревни, чье положение создавало хоть малейшую вероятность повторения раздачи «хлеба скорби».

То было время, когда все великое казалось давно минувшим, и мы изумились, узнав, что Наполеон Бонапарт еще жив. Мы думали, что такой великий человек мог жить только очень много лет назад, а тут оказывается, что он чуть ли не у дверей нашего дома. Это придало живости мнению, что этак и Судный день, может, ближе, чем нам представлялось, но няня сказала, что пока беспокоиться не стоит, а уж она-то знала. В те дни снег лежал дольше и заносил переулки глубже, чем теперь, молоко зимой иногда приносили замерзшим, и мы спускались в кухню посмотреть на него. Полагаю, и теперь есть где-то дома приходских священников, куда молоко зимой приносят замерзшим, и дети спускаются подивиться на него, но я ещё ни разу не видел замерзшего молока в Лондоне, а потому думаю, что зимы теперь теплее, чем бывало прежде.

Приблизительно через год после смерти своей супруги мистер Понтифекс тоже отошел в мир иной. Мой отец видел его за день до смерти. У старика было свое, особое отношение к закатам, и он приделал пару ступенек к садовой ограде, на которые обычно поднимался в ясную погоду понаблюдать, как садится солнце. Отец пошел к нему под вечер, как раз когда садилось солнце, и увидел, как старик стоит, положив руки на ограду, и смотрит на солнце над полем, через которое по тропинке шел мой отец. Отец услышал, как он произнес: «Прощай, солнце, прощай, солнце» – как раз когда солнце опускалось за горизонт, и по его интонации и виду отец понял, что он чувствует огромную слабость. До следующего заката он не дожил.

«Хлеба скорби» не было. Нескольких его внуков привезли на похороны, и мы пытались выразить им свое сочувствие, но добились не слишком многого. Джон Понтифекс, бывший на год старше меня, посмеялся над грошовыми булочками и намекнул, что мне хочется такую булочку потому, что мои папа с мамой не в состоянии мне ее купить, из-за чего, по-моему, мы затеяли нечто вроде драки, и, кажется даже, Джон Понтифекс потерпел в ней полное поражение, но, возможно, дело обстояло и иначе. Помнится, няня моей сестры – сам я к тому времени уже вышел из-под опеки нянь – передала дело в «высшую инстанцию», и всех нас наказали за постыдное поведение. Тут-то мы окончательно пробудились от наших грез, и еще довольно долго, стоило нам услышать слова «грошовая булочка», как наши уши вспыхивали от стыда. Впоследствии, получи мы хоть дюжину булочек, называемых «хлебом скорби», мы бы не соизволили даже прикоснуться ни к одной из них.

В память о своих родителях Джордж Понтифекс установил в пэйлхэмской церкви простую плиту с высеченной на ней следующей эпитафией:

ПАМЯТИ ДЖОНА ПОНТИФЕКСА,
РОДИВШЕГОСЯ 16 АВГУСТА 1727 ГОДА
И УМЕРШЕГО 8 ФЕВРАЛЯ 1812 ГОДА
НА 85-М ГОДУ ЖИЗНИ,

ПАМЯТИ РУТ ПОНТИФЕКС,
ЕГО СУПРУГИ,
РОДИВШЕЙСЯ 13 ОКТЯБРЯ 1727 ГОДА
И УМЕРШЕЙ 10 ЯНВАРЯ 1811 ГОДА

НА 84-М ГОДУ ЖИЗНИ.

ОНИ БЫЛИ СКРОМНЫ,
НО ОБРАЗЦОВО ИСПОЛНЯЛИ
СВОЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ, НРАВСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОЛГ.
ЭТОТ ПАМЯТНИК ПОСТАВЛЕН
ИХ ЕДИНСТВЕННЫМ СЫНОМ

# Глава 4

Через пару лет произошла битва при Ватерлоо, а затем в Европе наступил мир. Тогда мистер Джордж Понтифекс стал выезжать за границу. Помню, как по прошествии лет мне попался на глаза в Бэттерсби дневник, который он вел в первую из своих поездок. Это характерный документ. Читая его, я понял, что автор, еще до того, как отправиться в путь, настроился восхищаться только тем, чем, по его мнению, будет похвально восхищаться, и смотреть на природу и искусство только сквозь те очки, какие достались ему от многих поколений резонеров и притворщиков. Первый же взгляд на Монблан привел мистера Понтифекса в положенный в этом случае восторг. «Мои чувства непередаваемы. Я задыхался от восхищения, когда впервые узрел этого монарха гор. Мне представилось, будто я вижу духа, восседающего на своем грандиозном троне, возвышающегося над своими стремящимися ввысь собратьями, и в своей одинокой мощи бросающего вызов всей вселенной. Я был настолько переполнен чувствами, что, казалось, почти лишился сил, и ни за что на свете не мог бы вымолвить ни слова после своего первого восклицания, пока хлынувшие слезы не принесли мне некоторого облегчения. С трудом оторвался я, наконец, от созерцания „смутно различимого вдали“ (хотя мне казалось, будто мои душа и взор все еще устремлены к нему) столь величественного зрелища». Обозрев Альпы с высот над Женевой, он прошел пешком девять из двенадцати миль спуска: «Мои разум и сердце были слишком полны впечатлений, чтобы позволить телу пребывать в покое, и я нашел некоторое облегчение, усмирив свои чувства прогулкой». В должное время он добрался до Шамони, а в воскресенье отправился на Монтанвер, чтобы увидеть ледник Мер-де-Глас. Там в книгу для посетителей он вписал следующее стихотворение, которое счел, по его словам, «подобающим такому дню и такому пейзажу»:

Когда, о Боже, зрю творенья рук Твоих,
Мой дух в святом почтенье пред Тобою тих.
Сии пустынные просторы, сей покой
Той пирамиды в диадеме ледяной,

Сии остроконечные вершины, ширь равнин
И вечные снега, где холод – властелин,
Тобой сотворены, и, зря Твое творенье,
Тебе беззвучно возношу моленья.

Некоторые поэты, дойдя до седьмой-восьмой строки своего стихотворения, начинают сбиваться с ритма. Последние строчки доставили мистеру Понтифексу немало хлопот, и почти каждое слово было стерто и переписано заново, по меньшей мере, один раз. Однако же он просто вынужден был остановиться на том или ином варианте для книги посетителей на Монтанвере. Говоря о стихотворении в целом, должен признать, что мистер Понтифекс был вправе считать его подобающим такому дню; не хочу быть излишне суровым к леднику Мер-де-Глас, а потому воздержусь высказывать мнение, подобает ли стихотворение и такому пейзажу.

Мистер Понтифекс посетил далее Большой Сен-Бернар и там написал еще несколько стихотворных строк, на сей раз, к сожалению, по-латыни. Он также хорошенько позаботился о том, чтобы проникнуться должным впечатлением от монастырской гостиницы и ее местоположения. «Все это в высшей степени необычное путешествие похоже на сон, особенно его последние дни, проведенные в изысканном обществе, с полным комфортом и удобством среди диких скал в зоне вечных снегов. Мысль о том, что я ночую в монастыре и занимаю постель, на которой спал сам Наполеон, что нахожусь в самом высоко расположенном насе-

ленном пункте Старого Света, к тому же в месте, почитаемом во всех концах света, некоторое время не давала мне уснуть». В качестве контраста этим записям приведу здесь отрывок из письма, написанного мне в прошлом году внуком Джорджа, Эрнестом, о котором читатель узнает чуть позже. В этом отрывке говорится: «Я поднимался на Большой Сен-Бернар и видел тех собак». Как и положено, мистер Джордж Понтифекс не преминул посетить Италию, где картины и другие произведения искусства, – по крайней мере, те, что были тогда в моде, – вызвали у него приступ благовоспитанного восхищения. О галерее Уффици во Флоренции он пишет: «Сегодня утром я провел три часа в галерее и решил для себя, что если бы из всех сокровищ, виденных мной в Италии, мне нужно было выбрать один зал, то это был бы зал „Трибуна“ этой галереи. Здесь находятся „Венера Медичи“, „Лазутчик“, „Борец“, „Танцующий фавн“ и прекрасный Аполлон. Эти работы несравненно превосходят „Лаокоона“ и „Аполлона Бельведерского“ в Риме. Кроме того, здесь же находится „Святой Иоанн“ Рафаэля и многие другие chefs-d'oeuvre[3] величайших в мире художников». Интересно сравнить излияния мистера Понтифекса с восторгами современных критиков. Так, недавно один весьма ценимый писатель сообщил миру, что был «готов рыдать от восхищения» перед одной из скульптур Микеланджело. Интересно, готов ли он был бы рыдать от восхищения перед скульптурой Микеланджело, если бы знатоки сочли ее неподлинной, или перед скульптурой, приписываемой Микеланджело, а на самом деле созданной кем-то другим. Но, полагаю, ханжа, обладающий большим количеством денег, чем мозгов, был шестьдесят – семьдесят лет назад примерно таким же, как и теперь.

Взглянем на Мендельсона в том же зале «Трибуна», остановить выбор на котором мистер Понтифекс счел делом столь беспроигрышным для своей репутации человека культурного и со вкусом. Мендельсон чувствует себя в не менее беспроигрышной позиции и пишет: «И вот я пошел в „Трибуну“. Это помещение так необычайно мало, что его можно пересечь, сделав всего пятнадцать шагов, и все же оно заключает в себе целый мир искусства. Я вновь отыскал свое любимое кресло, которое стоит возле статуи „Раб, точащий нож“ („L'Arrotino“), и, завладев им, несколько часов наслаждался, ибо прямо передо мною находились „Мадонна со щегленком“, „Папа Юлий II“, женский портрет кисти Рафаэля, а над ним прекрасное „Святое семейство“ Перуджино; к тому же так близко, что я мог коснуться ее рукой, – „Венера Медичи“; чуть поодаль – „Венера“ Тициана… Остальное пространство занято другими картинами Рафаэля, портретом кисти Тициана, работой Доменикино и т. д., и т. д., и все это в пределах маленького полукружья, не превышающего размеры какой-либо из наших комнат. Это место, где человек чувствует собственную незначительность и может поучиться смирению». «Трибуна» – место мало подходящее место для обучения смирению таких людей, как Мендельсон. Как правило, они на два шага удаляются от смирения, делая один шаг к нему. Интересно, как много очков начислил себе Мендельсон за двухчасовое сидение в этом кресле. Интересно, как часто поглядывал на часы, чтобы узнать, не истекли ли уже два часа. Интересно, как часто говорил себе, что и сам он, если по правде, такая же крупная фигура, как и любой из тех, чьи работы он видит перед собой; как часто задавался вопросом, не узнал ли его кто-нибудь из посетителей и не восхитился ли им за столь долгое сидение все в том же кресле; и как часто досадовал на то, что они проходят мимо, не обращая на него внимания. Но, возможно, если по правде, те его два часа вовсе не были двумя часами.

Однако вернемся к мистеру Понтифексу. Нравилось ему или нет то, что он считал шедеврами греческого и итальянского искусства, но он привез с собой несколько копий работ итальянских художников, и я не сомневаюсь, что он удостоверился в их полнейшем сходстве с оригиналами. При разделе отцовского имущества две из этих копий достались Теобальду, и я часто видел их в Бэттерсби, навещая Теобальда и его жену. Одной из них была «Мадонна»

[3] chefs-d'oeuvre – шедевры (фр.).

кисти Сассоферрато, в синем капюшоне, наполовину затенявшем ее лицо. Другой – «Магдалина» работы Карло Дольчи, с пышной копной волос и мраморной чашей в руках. Когда я был молод, эти картины казались мне прекрасными, но с каждым последующим визитом в Бэттерсби я проникался все большей нелюбовью и к ним, и к надписи «Джордж Понтифекс» на них обеих. Наконец я отважился в осторожной форме слегка покритиковать их, но Теобальд и его жена встретили критику в штыки. Теобальд не любил своего отца, а его жена – своего свекра, но его авторитет и компетентность были непререкаемы, и не допускалось никаких сомнений в безупречности его вкуса по части литературы и искусства, – дневник же, который он вел во время своей заграничной поездки, служил достаточным тому доказательством. Еще одна короткая цитата, и я оставлю в покое этот дневник, чтобы возвратиться к продолжению истории. Во время пребывания во Флоренции мистер Понтифекс записал: «Я только что видел великого герцога с семьей, проехавших мимо в двух каретах, запряженных шестеркой, но это привлекло не больше внимания, чем если бы проехал я, человек никому здесь совершенно не известный». Не думаю, что бы он хоть отчасти верил, что его персона никому совершенно не известна во Флоренции или где бы то ни было!

# Глава 5

Судьба, говорят нам, – слепая и своенравная мачеха, которая оделяет своих питомцев дарами наугад. Но, веря такому обвинению, мы проявляем к ней крайнюю несправедливость. Проследите жизненный путь любого человека от колыбели до могилы и приглядитесь, как судьба поступала с ним. Вы обнаружите, что по его смерти с нее можно почти полностью снять обвинение в каком бы то ни было своенравии, кроме разве что самого незначительного. Ее слепота – всего лишь выдумка: она может усмотреть себе любимцев задолго до их рождения. Мы – это как бы наше сегодня, а родители – это как бы наше вчера, но на безоблачном родительском небе взгляд судьбы способен различить признаки надвигающейся бури, и она смеется, поскольку в ее власти выбрать себе любимца даже в лондонском закоулке, а того, кого решила погубить, – даже в королевском дворце. Редко она готова смилостивиться над теми, кого вскармливала без любви, и редко полностью отказывает в попечении своим баловням.

Был ли Джордж Понтифекс одним из баловней судьбы или нет? В общем-то, должен признать, что он им не был, ибо не считал себя таковым: он был слишком набожен, чтобы вообще видеть в судьбе некое божество; он брал то, что она давала ему, и никогда ее не благодарил, твердо убежденный в том, что все получаемые им выгоды добыты им самим. Так оно и было – после того как судьба наделила его способностью добывать их.

«Nos te, nos facimus, Fortuna, deam!» – воскликнул поэт. «Мы сами тебя, Судьба, богиней делаем!» Так и есть, потому что судьба наделила нас такой способностью. Поэт ничего не говорит относительно того, что творит этих «nos» – нас самих. Возможно, некоторые люди не зависят от своего происхождения и среды, обладая внутренней побудительной силой, не обусловленной никакими предпосылками; но это, похоже, трудный вопрос, и его, пожалуй, лучше оставить в стороне. Достаточно признать, что Джордж Понтифекс не считал себя удачливым, а кто не считает себя удачливым, тот – неудачник.

Правда, он был богат, всеми уважаем и обладал от природы отменным здоровьем. Если бы он меньше ел и пил, то знать бы не знал, что такое плохое самочувствие. Возможно, главным его преимуществом было то, что хотя его способности несколько превышали средний уровень, но не намного. Ведь именно выдающиеся способности послужили причиной несчастья для стольких умных людей. Преуспевающий человек видит дальше своих ближних ровно настолько, насколько и они способны увидеть то же самое, когда им это покажут, но не настолько далеко, чтобы их озадачить. Гораздо безопаснее знать слишком мало, чем слишком много. Люди могут осуждать мало знающего, но не потерпят, чтобы их вынуждали прилагать усилия для понимания того, кто знает слишком много.

Лучший пример здравого смысла мистера Понтифекса в вопросах, связанных с областью его деятельности, который в данный момент приходит на ум, – это революция, произведенная им в стиле рекламирования книг, издаваемых фирмой. Когда он только стал ее совладельцем, одно из рекламных объявлений фирмы гласило:

> «Книги, выпускаемые в текущем сезоне:
>
> «Благочестивый сельский прихожанин», или наставления о том, как христианину правильно и с пользой прожить все дни своей жизни; как препровождать день воскресный; какие книги Священного Писания надлежит читать в первую очередь; надежный метод воспитания; краткие молитвы о важнейших добродетелях, украшающих душу; рассуждение о Тайной вечере; правила, как блюсти душу праведну в болезновании – то есть, в этом трактате

содержатся все правила, потребные для спасения. 8-е дополненное издание. Цена 10 пенсов.

Предусмотрена уступка для тех, кто приобретает книгу для бесплатной раздачи».

Как совладельцу, ему не потребовалось много лет, чтобы реклама приобрела следующий вид:

««Благочестивый сельский прихожанин». Полный курс христианского вероисповедания. Цена 10 пенсов.

Скидка приобретающим книгу для бесплатного распространения».

Какой рывок совершен на пути к современному стандарту, какая проницательность явлена в понимании неуместности старого стиля, когда другие этого еще не чувствовали!

В чем же тогда было слабое место Джорджа Понтифекса? Полагаю, в том, что он поднялся по общественной лестнице слишком быстро. По-видимому, для полноценного наслаждения большим богатством требуется воспитание, передаваемое на протяжении нескольких поколений. Невзгоды, если погружение в них происходит постепенно, большинство людей переносят более хладнокровно, чем какой-либо большой успех, выпавший при жизни. Однако определенного рода удача обычно до последней минуты сопутствует тем, кто сам выбился в люди. А вот их детям, а порой и внукам угрожает уже большая опасность, поскольку сохранять блестящую удачливость неизменной среди всех превратностей бытия семейному клану удается не чаще, чем это удается отдельному индивидууму, и чем выше взлет успеха в каком-либо одном поколении, тем сильнее, как правило, спад в следующем – пока не пройдет достаточно времени для восстановления сил у данного семейства. Поэтому часто случается, что внук преуспевающего человека оказывается более удачливым, нежели сын – жизненная сила, питавшая энергией деда, дремлет в сыне, чтобы, накопив в покое новую энергию, вновь пробудиться к активности во внуке. Кроме того, очень удачливый человек представляет собой определенного рода гибрид; он – особь с новыми качествами, возникшими в результате небывалого сочетания множества разнородных элементов, а хорошо известно, что воспроизведение исключительных особей, будь то животные или растения, это явление необычное и надеяться на него не приходится, даже если особи не лишены способности к размножению.

Безусловно, успех пришел к мистеру Понтифексу чрезвычайно быстро. Всего через несколько лет после того, как он стал совладельцем фирмы, его тетя и ее муж умерли вслед друг за другом с промежутком в несколько месяцев. Тогда и выяснилось, что они назначили его своим наследником. Он оказался не только единственным владельцем фирмы, но в придачу еще и обладателем состояния в тридцать тысяч фунтов, что по тем временам было суммой немалой. Деньги полились к нему рекой, и, чем больше их у него становилось, тем большей любовью к ним он проникался, хотя часто говорил, что ценит их не сами по себе, а лишь как средство обеспечить своих дорогих детей.

Но если человек очень любит свои деньги, ему всегда нелегко так же сильно любить и своих детей. С детьми и деньгами – это как с Богом и мамоной. У лорда Маколея есть пассаж, где он противопоставляет удовольствие, которое человек может получить от книг, неприятностям, какие ему могут доставить знакомые. «Платон, – говорит он, – никогда не бывает угрюм. Сервантес никогда не бывает нагл. Демосфен никогда не приходит некстати. Данте никогда не задерживается слишком долго. Никакое различие в политических взглядах не оттолкнет Цицерона. Никакая ересь не внушит ужаса Боссюэ». Осмелюсь заметить, что я, возможно, и расхожусь с лордом Маколеем в оценке некоторых названных им авторов, но истинность самого суждения неоспорима, а именно: любой из них может доставить нам не больше беспокойства, чем мы сами пожелаем, тогда как с нашими друзьями не всегда так легко сладить.

Джордж Понтифекс чувствовал то же в отношении своих детей и своих денег. Его деньги никогда не вели себя непослушно; деньги никогда не учиняли шума или беспорядка, не проливали ничего на скатерть во время еды и не оставляли после себя дверь открытой. Его дивиденды не ссорились между собой, и у него не возникало беспокойства, как бы закладные по достижении совершеннолетия не стали сумасбродами и не наделали долгов, по которым ему рано или поздно придется платить. У Джона имелись склонности, внушавшие отцу большую тревогу, а Теобальд, младший сын, был ленив и по временам далек от правдивости. Знай дети, какие мысли посещают их отца, они могли бы, вероятно, ответить, что он не обходился грубо со своими деньгами, в отличие от детей, которых нередко поколачивал. Он никогда не бывал вспыльчивым или раздражительным со своими деньгами, и возможно, именно поэтому он и его деньги так хорошо ладили.

Нужно напомнить, что в начале XIX века отношения между родителями и детьми были еще далеки от приемлемых. Тип жестокого отца, описанный Филдингом, Ричардсоном, Смоллеттом и Шериданом, сегодня едва ли имеет больше шансов найти себе место в литературе, чем первоначальная версия рекламного объявления о «Благочестивом сельском прихожанине» фирмы «Фэйрли и Понтифекс», однако сам тип оказался слишком живуч, чтобы его нельзя было с достаточным сходством срисовать с натуры и позднее. Родители в романах мисс Остин менее похожи на свирепых диких зверей, чем персонажи ее предшественников, но она явно смотрит на них с подозрением, и тревожное чувство, что le père de famille est capable de tout[4], довольно ощутимо в большей части ее произведений. В елизаветинскую эпоху отношения между родителями и детьми в целом, по-видимому, были мягче. У Шекспира отцы и сыновья по большей части бывают друзьями, да и зло не выглядит достигшим предельной омерзительности, пока длительное воздействие пуританства не приучило людские умы к еврейским идеалам в качестве тех, какие нам нужно стремиться воплощать в повседневной жизни. Разве Авраам, Иеффай и Ионадав, сын Рехава, не подали в этом примера? Как легко было ссылаться на них и следовать им в тот век, когда лишь немногие разумные мужчины и женщины сомневались, что каждое слово Ветхого Завета verbatim[5] является записью услышанного из уст Божьих. Кроме того, пуританство ограничило естественные удовольствия: оно заменило пеан иеремиадой и к тому же позабыло, что злоупотребления во все времена нуждаются в авторитетном покровительстве.

Мистер Понтифекс, возможно, был чуть строже со своими детьми, чем некоторые его ближние, но ненамного. Он порол сыновей два-три раза в неделю, а бывало и чаще, но в те времена все отцы пороли сыновей. Легко иметь правильные взгляды, когда их имеют все, но, к счастью или к несчастью, результаты оказывают свое действие абсолютно вне зависимости от моральной виновности или безупречности того, кто их произвел; они зависят исключительно от содеянного, каким бы оно ни было. Подобным же образом моральная виновность или безупречность не в состоянии отменить действие определенного результата, вопрос сводится к тому, поступило бы достаточное количество разумных людей так, как поступило определенное действующее лицо, окажись они в той же ситуации, что и это действующее лицо. В то время считалось общепризнанным: пожалеешь розгу – испортишь ребенка, да и апостол Павел причислял неповиновение родителям к числу наихудших грехов. Если дети мистера Понтифекса делали что-либо неугодное ему, они явно проявляли неповиновение своему отцу. В таких случаях у здравомыслящего человека был, очевидно, только один способ воздействия. Он состоял в пресечении первых же проявлений своеволия, пока дети были еще слишком малы, чтобы оказать серьезное сопротивление. Если их воля была в детстве «своевременно подавлена», как принято было выражаться в то время, они приобретали привычку к повиновению, которое

[4] le père de famille est capable de tout – отец семейства способен на все (фр.)

[5] verbatim – буквально (лат.)

не смели нарушать, пока не достигнут двадцати одного года. Потом они могли бы поступать как им заблагорассудится; мистер Понтифекс знал, как себя защитить, – до той поры, пока он и его деньги не оказались в большей их власти, чем он бы того желал.

Как же мало мы знаем о собственных мыслях – о непроизвольных действиях, конечно, знаем, но о наших непроизвольных раздумьях! А ведь человек так гордится своим сознанием! Мы похваляемся тем, что отличаемся от ветра, волн, падающих камней и от растений, которые знать не знают, зачем и почему они растут, от кочующих с места на место в поиске добычи бродячих тварей, как нам угодно говорить без всяких на то оснований. Сами-то мы-то хорошо знаем, что и почему делаем, не так ли? Думаю, есть определенная доля истины в мнении, высказанном в настоящее время, что именно наши мало осознаваемые мысли и мало осознаваемые поступки оказывают решающее воздействие на нашу жизнь и жизнь тех, кого мы производим на свет.

# Глава 6

Мистер Понтифекс был не из тех, кто слишком тревожится из-за мотивов своих поступков. Люди в ту пору не предавались такому самоанализу, какому теперь предаемся мы; они руководствовались по большей части эмпирическими соображениями. Доктор Арнольд еще не посеял семена тех серьезных мыслителей, урожай которых мы теперь пожинаем, и люди не понимали, почему бы им не поступать по-своему, если это не предвещает никаких дурных последствий. Однако тогда, как и теперь, они порой наталкивались на более дурные последствия, чем ожидали.

Подобно другим богатым людям начала нынешнего века мистер Понтифекс ел и пил намного больше, чем нужно было для поддержания здоровья. Даже его крепкий организм не в состоянии был выдержать столь длительного переедания и того, что мы теперь сочли бы неумеренностью в выпивке. Его печень зачастую бывала не в порядке, и он спускался к завтраку с желтизной под глазами. Тогда молодежь знала, что лучше поостеречься. Совсем необязательно у детей на зубах будет оскомина оттого, что отцы ели кислый виноград. Состоятельные родители редко едят кислый виноград; опасность для детей представляют родители, которые едят слишком много сладкого винограда.

Допускаю, что на первый взгляд кажется весьма несправедливым, что родители предаются удовольствиям, а наказание за это несут дети, но молодые люди должны помнить, что много лет они были неотъемлемой частью своих родителей и, следовательно, в лице своих родителей получили добрую долю удовольствий. Позабыв теперь об этих удовольствиях, они напоминают людей, которые, выпив лишнего накануне, назавтра встают с головной болью. Человек, терзаемый утром головной болью, не отрицает своего тождества с тем, который напился вчера вечером, и не требует, чтобы наказание понесло его вчерашнее, а не сегодняшнее «Я». Так и юному отпрыску не стоит жаловаться на головную боль, которую он заработал, будучи частью родителей, ибо преемственность личности, пусть и не столь явная, вполне реальна как в одном случае, так и в другом. Что по-настоящему тяжело, так это когда родители предаются удовольствиям уже после того, как дети родились, а наказанными за это оказываются дети.

В черные дни у мистера Понтифекса появлялся мрачный взгляд на вещи, и он говорил себе, что, несмотря на всю его доброту к детям, они его не любят. Но кто в состоянии любить человека, у которого бунтует печень? «Какая низкая неблагодарность!» – восклицал он про себя. Как исключительно тяжела она для него который был таким образцовым сыном, всегда почитал своих родителей и повиновался им, хотя они не истратили на него и сотой доли тех денег, которые он расточал на своих детей. «Вечно одна и та же история, – говорил он себе, – чем больше молодежь имеет, тем больше ей хочется, и тем меньше благодарности получаешь. Я совершил большую ошибку: я был слишком снисходителен к моим детям. Ну что ж, я исполнил свой долг в отношении их, и даже с избытком. Если они пренебрегают своим долгом в отношении меня, Бог им судья. Я, во всяком случае, не виноват. Ведь я мог бы жениться снова и стать отцом других и, возможно, более любящих детей», – и т. д., и т. п. Он жалел себя за большие расходы на образование своих детей, не понимая того, что это образование стоило детям гораздо дороже, чем оно стоило ему, поскольку скорее лишало их способности легко зарабатывать себе на жизнь, чем помогало в этом, и вынуждало годами оставаться во власти отца даже по достижении возраста, когда они должны были стать независимыми. Образование, полученное в дорогой частной школе, отрезает мальчику всякий путь к отступлению: он уже не может стать рабочим или ремесленником, а это единственные люди, чья независимость не бывает шаткой, – за исключением, конечно, тех, кто родился богатым наследником или с юности оказался в какой-либо безопасной и глубокой колее. Ничего этого мистер Понтифекс не пони-

мал. Он понимал лишь то, что тратит на своих детей намного больше, чем обязан по закону, а чего же еще можно требовать? Разве не мог бы он отдать обоих своих сыновей в ученики зеленщику? Разве не может он сделать это завтра же утром, стоит ему только захотеть? Возможность такого поворота событий была его излюбленной темой, когда он бывал не в духе. Правда, он так и не отдал ни одного из своих сыновей в ученики зеленщику, но мальчики, обсуждая свое положение, порой приходили к выводу, что лучше бы отдал.

А иногда, будучи не в лучшем расположении духа, он вызывал сыновей к себе, чтобы забавы ради потрясти перед ними завещанием. В своем воображении он одного за другим лишал их наследства и завещал деньги на учреждение приютов, пока, в конце концов, не был вынужден вернуть им наследство, чтобы иметь удовольствие вновь лишать их его в следующий раз, когда будет в гневе.

Конечно, если молодые люди ставят свое поведение хоть в какую-то зависимость от завещания еще здравствующих людей, они поступают очень дурно и должны ожидать, что, в конце концов, окажутся в проигрыше, тем не менее, право соблазнять завещанием и грозить завещанием допускает такую возможность злоупотреблений и постоянно служит столь мощным орудием пытки, что я, будь моя воля, ввел бы закон, лишающий любого человека права составлять завещание в течение трех месяцев с момента совершения какого-либо из вышеупомянутых проступков и позволяющий судейской коллегии или судье, перед которыми он был уличен в содеянном, распорядиться его имуществом так, как они сочтут правильным и разумным, в случае его смерти в тот период времени, на который он был лишен права составлять завещание.

Мистер Понтифекс обычно вызывал сыновей в столовую. «Дорогой Джон, дорогой Теобальд, – говорил он, – посмотрите на меня. Я начал жизнь, не имея ничего, кроме одежды, в которой мои отец с матерью отправили меня в Лондон. Отец дал мне десять, а мать пять шиллингов карманных денег, и я счел их очень щедрыми. Никогда за всю мою жизнь я не попросил у отца ни шиллинга, да и не брал у него ничего, кроме небольшой суммы, которую он выдавал мне ежемесячно, пока я не начал получать жалованье. Я сам пробил себе дорогу в жизни и хочу надеяться, что мои сыновья поступят так же. Не воображайте, пожалуйста, будто я собираюсь изнурять себя всю жизнь, зарабатывая деньги, чтобы мои сыновья могли тратить их вместо меня. Если вам нужны деньги, вы должны заработать их сами, как заработал я, ибо, даю вам слово, я не оставлю ни одному из вас ни гроша, если вы не докажете мне, что заслуживаете этого. Нынешняя молодежь, похоже, ждет всевозможной роскоши и излишеств, о которых и не слыхивали, когда я был ребенком. Да ведь мой отец был простым плотником, а вы вот оба учитесь в частных школах, стоящих мне многих сотен фунтов в год, в то время как я в вашем возрасте корпел за столом в конторе моего дяди Фэйрли. Чего бы я добился, имей я хоть половину тех преимуществ, какие есть у вас! Да стань вы герцогами или основателями новых империй в неведомых странах, сомнительно, чтобы даже тогда ваши достижения были соизмеримы с моими. Нет, нет, я позабочусь, чтобы вы закончили школу и колледж, а там уж, будьте любезны, сами пробивайтесь в жизни».

Этаким манером он доводил себя до такого состояния благородного негодования, что, бывало, порол своих мальчиков тут же на месте, изобретя для данного случая подходящий предлог.

И все же, по сравнению с другими детьми юным Понтифексам повезло; на десяток семей, где молодым людям жилось хуже, чем им, приходилась лишь одна семья, где жилось лучше. Они ели хорошую здоровую пищу, спали в удобных постелях, в их распоряжении были самые лучшие доктора на случай болезни, и самое лучшее образование, какое только можно было получить за деньги. Недостаток свежего воздуха, похоже, не слишком мешает счастью юных жителей какого-нибудь лондонского переулка: большинство из них распевает песни и играет, как будто они в вересковых полях Шотландии. Так же и отсутствие доброжелательной душев-

ной атмосферы обычно не замечается детьми, которые никогда ее не знали. Молодые люди обладают изумительной способностью либо погибнуть, либо приспособиться к обстоятельствам. Даже если они несчастны – очень несчастны, – им на удивление легко можно помешать обнаружить это или, во всяком случае, увидеть причину этого в чем-то ином, кроме собственной греховности.

Родителям, которые хотят спокойной жизни, я сказал бы: убеждайте своих детей, что они очень плохо себя ведут, намного хуже большинства других детей. Укажите на детей каких-нибудь знакомых как на пример совершенства и внушите своим детям глубокое чувство собственной неполноценности. У вас намного больше оружия, чем у них, так что они не смогут вам противостоять. Это называется моральным воздействием, и позволит вам обманывать и запугивать их сколько угодно. Они думают, что вы все знаете, ведь они еще не ловили вас на лжи достаточно часто, чтобы заподозрить, что вы не тот возвышенный, безупречно правдивый человек, за какого себя выдаете. Не знают они пока и того, какой вы отъявленный трус и как быстро вы пойдете на попятный, если они станут с упорством и рассудительностью бороться с вами. Игральные кости в руках у вас, и вы бросаете их и за себя, и за своих детей. Так налейте кости свинцом, ведь вы легко сумеете помешать детям проверить их. Внушайте им, какой вы исключительно снисходительный человек; подчеркните, какими бесчисленными милостями вы одарили их, прежде всего вообще породив на свет, а сверх того, породив именно вашими детьми, что является их особой удачей. Всякий раз, когда бываете не в духе и, ради утешения душевного, желаете позловредничать, говорите, что только об их благе и печетесь. Почаще твердите об этом их благе. Пичкайте их духовной серой и патокой на манер воскресных проповедей покойного епископа Винчестерского. У вас на руках все козыри, а если нет, то можете их стянуть. Расчетливо поведя игру, вы окажетесь главой счастливой, дружной, богобоязненной семьи, как мой старый друг мистер Понтифекс. Правда, ваши дети в один прекрасный день, вероятно, все поймут, но будет уже слишком поздно, чтобы это принесло большую пользу им или неудобство вам.

Некоторые сатирики выражают недовольство жизнью за то, что все удовольствия приходятся на ее начальную пору, и мы вынуждены наблюдать, как они убывают, пока нам не остаются, пожалуй, лишь напасти дряхлой старости.

Мне же кажется, юность подобна весне, захваленной поре года, восхитительной, если ей случается быть благодатной, но в реальности очень редко бывающей благодатной и, как правило, чаще отмеченной резкими восточными ветрами, чем приветливыми бризами. Осень – более мягкая пора, и пусть мы лишаемся цветов, зато в избытке получаем плоды. Когда девяностолетнего Фонтенеля спросили, какое время было самым счастливым в его жизни, он сказал, что не думает, что был когда-либо намного счастливее, чем в этом возрасте, но что, пожалуй, лучшей его порой были годы между пятьюдесятью пятью и семьюдесятью пятью. А доктор Джонсон ценил удовольствия старости гораздо выше, чем наслаждения молодости. Правда, в старости мы живем под сенью смерти, которая подобно дамоклову мечу может обрушиться на нас в любой момент, но мы так давно поняли, что жизнь чаще пугает, чем бьет, что уподобились людям, живущим у подножия Везувия, – подвергаясь риску, не испытываем при этом особых опасений.

# Глава 7

О большинстве детей, упомянутых в предыдущей главе, достаточно сказать несколько слов. Элиза и Мария, две старшие девочки, не будучи, строго говоря, ни красавицами, ни дурнушками, были во всех отношениях образцовыми юными леди. Алетея же была необычайно красива и обладала жизнерадостным нравом и нежной душой, что резко контрастировало с характерами ее братьев и сестер. От своего дедушки она унаследовала не только черты лица, но и любовь к шуткам, совершенно не свойственную ее отцу, хотя его шумливое и довольно грубоватое подобие юмора многие принимали за остроумие.

Джон вырос в представительного, благовоспитанного юношу, с точеными и чересчур правильными чертами лица. Он одевался столь изысканно, обладал такими хорошими манерами и так упорно корпел над своими книгами, что сделался любимцем учителей; у одноклассников же он пользовался меньшей популярностью из-за своей прирожденной дипломатичности. Отец, несмотря на то, что время от времени читал ему нравоучения, в известной мере стал гордиться сыном, когда тот повзрослел. Кроме того, он видел в нем задатки толкового дельца, в чьих руках его фирма в перспективе не должна была, похоже, придти в упадок. Джон умел приноровиться к отцу, и в сравнительно раннем возрасте удостоился такого большого доверия, какое тот по своей природе вообще был в способен кому-либо оказать.

Теобальд был не чета своему брату и, зная это, смирился со своей участью. Он не был так представителен, как его брат, и не имел таких хороших манер; ребенком он был необуздан, но позднее стал замкнут, робок и, должен признать, ленив душой и телом. Он был менее опрятен, чем Джон, менее способен постоять за себя и менее искусен в потакании прихотям отца. Не думаю, чтобы он был способен любить кого-нибудь всем сердцем, но и не было в их семейном кругу никого, кто не отталкивал бы, а скорее поощрял его привязанность, за исключением его сестры Алетеи, однако она была слишком бойкой и живой для его несколько угрюмого нрава. Он всегда оказывался в роли козла отпущения, и у меня порой возникало впечатление, что ему приходится противостоять двум отцам – собственному отцу и брату Джону; а к ним могли добавиться еще третий и четвертый в лице сестер Элизы и Марии. Возможно, если бы он остро чувствовал свою кабалу, то не стал бы мириться с ней, но он был от природы робок, а суровая рука отца накрепко повязала его узами внешнего согласия с братом и сестрами.

Сыновья были полезны отцу в одном отношении, а именно: он натравливал их друг на друга. Он содержал их, но скудно наделял карманными деньгами, внушая Теобальду, что нужды его старшего брата естественно стоят на первом месте, а перед Джоном разглагольствуя о многочисленности семейства и с важным видом заявляя, что расходы на содержание семьи так велики, что после его смерти для дележа останется очень мало. Его не заботило, сличают ли сыновья полученные сведения, лишь бы они не делали этого в его присутствии. Теобальд никогда не жаловался на отца у него за спиной. Я знал его так хорошо, как только можно было его знать, – сначала ребенком, потом школьником и студентом Кембриджа, – но он очень редко упоминал имя отца, даже когда тот был еще жив, и ни разу в моем присутствии после его смерти. В школе он не вызывал столь сильной неприязни, как его брат, но был слишком уныл и лишен душевной бодрости, чтобы внушать симпатию.

Прежде чем он успел вырасти из своих детских одежек, было решено, что он должен стать священником. Мистеру Понтифексу, известному издателю религиозных книг, приличествовало, чтобы хоть один из его сыновей посвятил жизнь Церкви: это могло оказаться выгодно фирме или, во всяком случае, сохранить прочность ее репутации. Кроме того, мистер Понтифекс пользовался определенным авторитетом у епископов и церковных сановников и мог надеяться, что благодаря его влиянию сыну будет оказано некоторое предпочтение. Мальчик с раннего детства знал, какая судьба ему уготована, и с его молчаливого согласия дело

воспринималось как, по сути, решенное. Однако ему предоставлялась некоторая видимость свободы. Мистер Понтифекс говаривал, что, будет вполне правильно дать мальчику право выбора, но гораздо справедливее – растолковать сыну все те выгоды, какие он мог бы получить, став священником. Он приходит в ужас, восклицал он, когда какого-либо юношу принуждают заняться нелюбимым делом. Да будет он далек от того, чтобы оказывать давление на собственного сына в выборе какой бы то ни было профессии, а тем более, когда дело касается такого высокого призвания, как духовный сан. Он разглагольствовал в такой манере, когда в доме бывали гости и сын находился в комнате. Он рассуждал с таким здравомыслием и такой основательностью, что слушающие его гости видели в нем образец благоразумности. К тому же речь его была столь выразительна, а румяное лицо и лысая голова производили впечатление такого благодушия, что было трудно не поддаться воздействию его слов. Полагаю, два-три отца соседних семейств предоставили своим сыновьям полную свободу в выборе профессии – и не уверен, что впоследствии у них не было серьезных оснований об этом пожалеть. Глядя на Теобальда, робеющего и совершенно равнодушного к проявлениям столь большого внимания к его желаниям, гости отмечали про себя, что мальчик, по-видимому, едва ли сравнится со своим отцом, и считали его юношей вялым, которому бы следовало быть поэнергичнее и лучше сознавать предоставляющиеся ему преимущества.

Никто не верил в правильность всех этих рассуждений более, чем сам мальчик. Ощущение скованности заставляло его молчать, но оно было слишком глубоким и непреодолимым, чтобы он мог со всей ясностью его осознать и разобраться в самом себе. Он боялся сердитого выражения, появлявшегося на лице отца в ответ на малейшее возражение. Более решительный мальчик не воспринимал бы яростные угрозы или грубые насмешки отца au sérieux[6], но Теобальд не был решительным мальчиком и, правильно или ошибочно, верил, что отец вполне готов привести свои угрозы в исполнение. Возражение никогда еще не приносило ему желаемых результатов, как, по правде говоря, и уступчивость, если только ему не случалось хотеть точно того же, чего хотел для него отец. Если когда-то он и тешил себя мыслью о сопротивлении, то теперь не осталось и этого, а способность противостоять отцу оказалась так безвозвратно утрачена из-за отсутствия ее применения, что у него почти не осталось и такого желания; не осталось ничего, кроме унылого смирения, похожего на смирение осла, согнувшегося под тяжестью двух нош. Возможно, у него и было некое смутное видение идеалов, далеких от окружавшей его действительности; по временам он видел себя в мечтах солдатом, или моряком, уехавшим в дальние страны, или даже работником у фермера, на деревенском просторе, но в нем не было достаточной силы духа, даже для попытки претворить мечты в реальность, и он привычно плыл по медленному и, к сожалению, мутному течению.

Думаю, церковный катехизис послужил немаловажной причиной тяжелых отношений, еще и поныне обычно существующих между родителями и детьми. Это произведение написано исключительно с родительской точки зрения. Человек, сочинивший его, не удосужился обратиться за помощью хотя бы к нескольким детям; сам он, разумеется, не был молод, и я не назвал бы его произведение работой человека, который любил детей, – несмотря на то, что слова «мое милое дитя», если я правильно помню, однажды вложены в уста вероучителя; звучат они все же как-то резко. Общее впечатление, которое это произведение оставляет в юных душах, состоит в том, что их прирожденная греховность далеко не полностью смыта при крещении и что в самой их молодости наличествуют более или менее явные признаки греховной природы.

На случай, если когда-либо потребуется новое издание этого произведения, я хотел бы сказать несколько слов в пользу обязанности стремиться ко всякому разумному удовольствию и избегать всякого страдания, которого можно достойным образом избежать. Я бы хотел, чтобы

[6] au sérieux – всерьез (фр.)

детей учили не говорить, что им нравятся вещи, которые им совсем не нравятся, – говорить, просто потому, что какие-то другие люди говорят, что эти вещи им нравятся; и еще чтоб детей учили, как это глупо – говорить, будто они верят в то-то и то-то, ничего в этом не смысля. В случае возражения, что эти дополнения слишком удлинят катехизис, я сократил бы ту его часть, где говорится о нашем долге перед ближним и о таинствах. Вместо абзаца, начинающегося словами «Отче Наш, иже еси на небеси…», я бы… Но, пожалуй, мне лучше вернуться к Теобальду и оставить исправление катехизиса кому-нибудь более способному.

# Глава 8

Мистер Понтифекс очень хотел, чтобы его сын, прежде чем сделаться священником, стал стипендиатом колледжа. Это обеспечило бы его средствами к существованию и гарантировало получение прихода, если бы ни один из отцовских друзей среди духовенства не предоставил ему такового. Мальчик достаточно хорошо окончил школу, чтобы осуществить эту возможность, а потому был отправлен в один из малых кембриджских колледжей и одновременно стал заниматься с лучшими частными учителями, каких только можно было найти. Экзаменационная система, введенная примерно за год до того, как Теобальд получил диплом, увеличила его шансы получить место стипендиата, поскольку он обладал скорее гуманитарными, чем математическими наклонностями, а эта система поощряла гуманитарные дисциплины в большей степени, чем прежняя.

У Теобальда хватило здравого смысла понять, что у него есть шанс получить независимость, если он будет усердно работать, и к тому же нравилась идея стать стипендиатом. Поэтому он приложил старания и, в конце концов, стал обладателем диплома, делавшего получение стипендии, по всей вероятности, просто вопросом времени. Некоторое время мистер Понтифекс-старший был по-настоящему доволен и сказал сыну, что намерен подарить ему сочинения любого классического автора по его выбору. Молодой человек выбрал Бэкона, и Бэкон соответственно у него появился в десяти изящно переплетенных томах. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что экземпляры были подержанными.

Теперь, когда он получил диплом, следующее, что его ожидало, было посвящение в духовный сан, о котором до настоящего времени Теобальд задумывался редко, смирясь с ним, как с чем-то неизбежно предстоящим в отдаленном будущем. Теперь же посвящение это стало уже близкой реальностью и властно заявляло о себе как о событии, готовом наступить всего через несколько месяцев, и событие это в известной мере страшило его, поскольку, однажды ступив на сей путь, он уже не смог бы с него сойти. Посвящение в духовный сан так же не нравилось ему в ближайшей перспективе, как не нравилось в отдаленной, и он даже предпринял несколько слабых попыток его избегнуть, как можно видеть из нижеследующих писем, которые его сын Эрнест нашел среди бумаг отца. Написанные на бумаге с золотым обрезом, с поблекшими от времени чернилами, письма были аккуратно перевязаны тесемкой, но никакой пояснительной записки при них не было. Я не изменил в них ни слова. Вот эти письма:

> Дорогой отец!
>
> Мне неприятно поднимать вопрос, который считался решенным, но по мере приближения назначенного срока я начинаю сильно сомневаться, гожусь ли я быть священником. Нет, мне отрадно признаться, что у меня нет ни малейших сомнений относительно Англиканской церкви, и я мог бы с чистым сердцем подписаться под каждым из тридцати девяти догматов, которые действительно кажутся мне nec plus ultra[7] человеческой мудрости, да и Пейли не оставляет ни единой лазейки оппоненту; но я уверен, что поступил бы вопреки Вашей воле, если бы скрыл от Вас, что не чувствую такого внутреннего призвания проповедовать Евангелие, чтобы сказать епископу, что ощущаю таковое, когда он будет посвящать меня в сан. Я пытаюсь обрести это чувство, я горячо молюсь о нем, и иногда мне даже кажется, что я обрел его, но вскоре оно исчезает, и хотя я не питаю полного отвращения к роли священника и верю, что, стань я им, приложу все старания, чтобы

[7] nec plus ultra – здесь: вершиной (лат.); букв.: как нельзя больше

жить во славу Господа и утверждать дело Его на земле, но все же чувствую, что требуется нечто большее, чтобы иметь все основания принять духовный сан. Знаю, что я ввел Вас в большие расходы, несмотря на мою стипендию, но Вы всегда учили меня, что я должен поступать по совести, а моя совесть говорит мне, что я поступлю неправильно, если стану священником. Бог еще может даровать мне ту духовную силу, о которой, уверяю Вас, я молился и продолжаю непрерывно молиться, но может и не даровать, а в таком случае не лучше ли будет мне попробовать подыскать что-нибудь другое? Я знаю, что ни Вы, ни Джон не хотите, чтобы я вошел в Ваше дело, да я и не понимаю ничего в денежных делах, но разве нет ничего иного, чем я мог бы заняться? Мне не хочется обращаться к Вам с просьбой содержать меня, пока я буду учиться медицине или юриспруденции, но как только я получу стипендию, что не должно заставить себя долго ждать, то приложу все усилия, чтобы не вводить Вас в расходы в дальнейшем, и к тому же я мог бы зарабатывать немного денег литературным трудом или уроками. Верю, что это письмо не покажется Вам непозволительным; менее всего на свете я хочу причинить Вам какое-либо беспокойство. Надеюсь, Вы примете во внимание мои нынешние чувства, действительно проистекающие именно из уважения к собственной совести, которое не кто иной, как Вы, внушали мне так часто. Умоляю, напишите мне поскорее хотя бы несколько строчек. Надеюсь, Ваша простуда прошла. С любовью к Элизе и Марии
*Ваш любящий сын*
*Теобальд Понтифекс.*

Дорогой Теобальд!

Я могу понять твои чувства и вовсе не желаю придираться к той форме, в какой ты их выражаешь. Совершенно справедливо и естественно, что ты пишешь о том, что чувствуешь, за исключением одной фразы, неуместность которой, обдумав ее, ты, несомненно, сам поймешь, и о которой я не буду больше упоминать, сказав лишь, что она ранила меня. Ты не должен был говорить «несмотря на мою стипендию». Если бы ты смог сделать что-то, чтобы помочь мне нести тяжелое бремя твоего образования, то было только правильно в данной ситуации передать эти деньги мне. Каждая строчка в твоем письме убеждает меня, что ты находишься под влиянием болезненной чувствительности, которая является одним из излюбленных приемов дьявола соблазнять людей к их погибели. Я понес, как ты выражаешься, большие расходы в связи с твоим образованием. Я ничего не жалел, чтобы дать тебе преимущества, которые я как английский джентльмен стремился предоставить моему сыну, но я не готов допустить, чтобы расходы оказались напрасными, чтобы мне пришлось начинать все сначала лишь потому, что ты забрал себе в голову какие-то дурацкие сомнения, которым должен сопротивляться как несправедливым по отношению к тебе не менее, чем ко мне.

Не поддавайся той беспокойной жажде перемен, какая губительна для столь многих особ обоего пола в наше время.

Конечно, ты не обязан становиться священником: никто не станет принуждать тебя; ты совершенно свободен; тебе двадцать три года, и ты должен знать, чего хочешь. Но почему было не понять это раньше? Ведь ты ни разу не высказал ни малейшего намека на несогласие, пока я не пустился

> во все эти расходы, послав тебя в университет, чего никогда не сделал бы, если бы не полагал, что ты принял решение стать священником. У меня есть от тебя письма, в которых ты выражаешь полнейшую готовность к посвящению в духовный сан, а твои брат и сестры подтвердят, что на тебя не оказывалось никакого давления. Ты запутался в самом себе и страдаешь от болезненной робости, которая, может быть, вполне естественна, но от этого не менее чревата для тебя серьезными последствиями. Я и так нездоров, а меня еще мучает беспокойство, причиненное твоим письмом. Да поможет тебе Бог найти правильное решение.
> *Твой любящий отец*
> *Дж. Понтифекс*

Получив это письмо, Теобальд воспрянул духом. «Отец говорит, – сказал он себе, – что я не обязан становиться священником, если не хочу. Я не хочу, а значит, не буду священником». Но что означают его слова «чревата для тебя серьезными последствиями»? Сокрыта ли в этих словах угроза – хотя невозможно понять, в чем угроза и в чем смысл этих слов? Не предназначены ли они произвести полное впечатление угрозы, не будучи на самом деле угрожающими?

Теобальд знал своего отца слишком хорошо, чтобы хоть сколько-нибудь ошибаться в значении его слов, но, рискнув зайти так далеко по пути сопротивления и действительно стремясь избежать, если сможет, посвящения в духовный сан, решился рисковать и дальше. А потому написал следующее:

> Мой дорогой отец!
>
> Вы пишете – и я сердечно благодарен Вам за это, – что никто не намерен принуждать меня к посвящению в духовный сан. Я знал, что Вы не станете навязывать мне посвящение, раз моя совесть серьезно противится этому, а потому решил отказаться от данной идеи и полагаю, что, если Вы продолжите выдавать мне сумму, какую даете в настоящее время, до тех пор пока я не получу мою стипендию, которая не заставит себя долго ждать, то я перестану вводить вас в дальнейшие расходы. В самом скором времени я приму решение относительно своей будущей профессии и сразу же сообщу Вам.
> *Ваш любящий сын*
> *Теобальд Понтифекс*

А теперь нужно привести последнее письмо, отправленное с обратной почтой. Оно отличается краткостью:

> Дорогой Теобальд!
>
> Я получил твое письмо. Мне трудно понять его мотивы, но я вполне ясно представляю себе его последствия. Ты не получишь от меня ни гроша, пока не образумишься. Если же ты собираешься упорствовать в своей глупости и греховности, то я счастлив напомнить, что у меня есть и другие дети, чье поведение, могу надеяться, будет для меня источником гордости и счастья.
> *Твой любящий, но огорченный отец*
> *Дж. Понтифекс.*

Я не знаю непосредственного продолжения вышеприведенной переписки, но в итоге все окончилось вполне благополучно. Теобальд то ли испугался, то ли истолковал внешний толчок, полученный от отца, как тот внутренний зов, о котором, без сомнения, очень горячо молился, – ведь он непоколебимо верил в действенность молитвы. И я тоже верю – при определенных условиях. Теннисон сказал, что молитвой сотворено больше дел, чем этому миру может при-

сниться, но благоразумно воздержался от уточнения, хороши эти дела или плохи. Возможно, было бы хорошо, если бы миру приснились или даже увиделись наяву некоторые вещи, сотворяемые молитвой. Но это явно трудный вопрос. В конце концов счастливый случай все-таки помог Теобальду получить стипендию вскоре после получения диплома, и он был посвящен в духовный сан осенью того же, 1825 года.

# Глава 9

Мистер Элэби был приходским священником в Крэмпсфорде, деревне в нескольких милях от Кембриджа. Он тоже в свое время стал обладателем хорошего диплома и стипендии, а впоследствии получил от университета приход, с доходностью около четырехсот фунтов в год и домом. Личный доход мистера Элэби не превышал двухсот фунтов в год. Отказавшись от членства в совете колледжа, он женился на женщине, бывшей намного моложе его, которая родила ему одиннадцать детей, из которых выжили девять – двое сыновей и семь дочерей. Две старшие дочери довольно удачно вышли замуж, но в то время, о котором я пишу, пять дочерей в возрасте между тридцатью и двадцатью двумя годами оставались незамужними, к тому же отцу приходилось пока содержать еще и обоих сыновей. Понятно, случись что-то с мистером Элэби, семейство оказалось бы в бедственном положении, и эта перспектива внушала мистеру и миссис Элэби такую тревогу, какую и должна была внушать.

Читатель, имел ли ты когда-либо доход, который и в лучшую-то пору был отнюдь небольшим, а в случае твоей смерти и вовсе бы исчез, за исключением двухсот фунтов в год? Имел ли ты при этом двоих сыновей, которым нужно было как-то помочь встать на ноги, и пятерых незамужних дочерей, которым ты был бы чрезвычайно счастлив найти мужей, если бы знал, как это сделать? Если нравственность – это то, что в итоге приносит человеку покой на склоне лет (если, то есть, это – не полный обман), можешь ли ты в подобных обстоятельствах льстить себя мыслью, что вел нравственную жизнь?

И это притом даже, что твоя жена была такой хорошей женщиной, что так и не наскучила тебе и не впала в такую болезненность, которая подорвала бы и твое собственное здоровье вследствие нераздельности вашего союза; и притом даже, что твои дети выросли крепкими, дружелюбными и наделенными здравым смыслом. Я знаю многих пожилых мужчин и женщин, слывущих высоконравственными, но живущих с супругами, которых давно разлюбили, или имеющих безобразных незамужних дочерей с тяжелым характером, которым так и не смогли найти мужей – дочерей, которых они терпеть не могут и которые втайне терпеть не могут их, или имеющих сыновей, чья глупость и сумасбродство служат для них вечным источником тревог и мучений. Нравственно ли со стороны человека взваливать на себя такое? Кто-то должен сделать для морали то, что этот старый лицемер Бэкон, по его горделивому заявлению, сделал для науки.

Но вернемся к мистеру и миссис Элэби. Миссис Элэби говорила о замужестве двух своих дочерей так, словно это было самым легким делом на свете. Она говорила так потому, что слышала, как другие матери так говорят, но в глубине души не понимала, как ей это удалось, да и было ли это вообще делом ее рук. Сначала появился молодой человек, в отношении которого она намеревалась осуществить некоторые маневры, каковые репетировала в воображении множество раз, но так и не нашла возможным применить на практике. Затем последовали недели надежд, опасений и маленьких уловок, которые всякий раз оказывались неблагоразумными, но как бы то ни было, в конце концов, молодой человек пал к ногам ее дочери, сраженный стрелой прямо в сердце. Это показалось ей такой неожиданной удачей, на повторение которой она очень мало могла надеяться. И все же удача повторилась еще раз и могла, возможно, при счастливом стечении обстоятельств повториться еще один раз – но не пять же раз подряд!.. Это было ужасно: да она скорее предпочла бы еще три раза претерпеть роды, чем пройти через все эти испытания с выдачей замуж еще хоть одной из дочерей.

Тем не менее, это нужно было сделать, и бедная миссис Элэби в любом молодом человеке готова была видеть будущего зятя. Папаши и мамаши порой спрашивают молодых людей, честные ли у них намерения в отношении их дочерей. Думаю, молодые люди, прежде чем при-

нимать приглашения в дома, где есть незамужние дочери, могли бы при случае спрашивать папаш и мамаш, а честны ли их родительские намерения.

– Я не в состоянии позволить себе помощника, моя дорогая, – сказал мистер Элэби жене, когда супружеская чета обсуждала, что делать дальше. – Лучше будет пригласить какого-либо молодого человека, чтобы он приходил на какое-то время помогать мне по воскресеньям. Это будет стоить гинею за воскресенье, и мы сможем менять их, пока не найдем подходящего.

Итак, было решено, что здоровье мистера Элэби уже не такое крепкое, как прежде, и он нуждается в помощи для исполнения воскресной службы.

У миссис Элэби была близкая подруга – миссис Кауи, жена знаменитого профессора Кауи. То была женщина, что называется, поистине возвышенная, немного тучная, с начинающей пробиваться бородкой и обширными знакомствами в среде студентов последнего курса, особенно тех, которые были готовы принять участие в широком евангелическом движении, находившемся тогда на пике популярности. Раз в две недели она устраивала званые вечера, на которых молитва была частью программы. Она являлась не только особой возвышенной, но, как восклицала восторженная миссис Элэби, была при этом в полном смысле слова светской женщиной и обладала неисчерпаемым запасом крепкого мужского здравого смысла. У нее тоже были дочери, но, как она часто говаривала миссис Элэби, ей повезло меньше, чем самой миссис Элэби, поскольку дочери одна за другой вышли замуж и покинули ее, так что ее старость была бы в самом деле одинокой, не останься у нее ее профессора.

Миссис Кауи, безусловно, знала наперечет всех холостяков среди духовенства в университете и была именно тем человеком, который мог помочь миссис Элэби найти подходящего помощника для ее мужа, а потому однажды ноябрьским утром 1825 года последняя из вышеупомянутых дам отправилась, как было условлено, на ранний обед к миссис Кауи и провела у нее всю вторую половину дня. После обеда дамы уединились и приступили к делу. Как долго они ходили вокруг да около, как хорошо видели друг друга насквозь, с каким единодушием делали вид, что не видят друг друга насквозь, с какой легкой беспечностью продолжали беседу, обсуждая духовную подготовленность того или иного дьякона, а покончив с его духовной подготовленностью, обсуждали другие «за» и «против» относительно него, – все это следует предоставить воображению читателя. Миссис Кауи так привыкла плести интриги в собственных интересах, что предпочитала интриговать ради кого-либо другого, чем не интриговать вовсе. Множество матерей в трудную минуту обращались к ней, и если они оказывались возвышенными особами, миссис Кауи никогда не подводила их, делая все, что в ее силах; если брак какого-либо молодого бакалавра искусств не заключался на небесах, то он заключался или, во всяком случае, приуготовлялся в гостиной миссис Кауи. В настоящем случае все дьяконы университета, подающие хоть малейшую надежду, были подвергнуты всестороннему обсуждению, и в результате миссис Кауи объявила нашего друга Теобальда практически лучшим кандидатом, какого она могла предложить в тот день.

– Не скажу, что он особенно обаятельный молодой человек, моя дорогая, – сказала миссис Кауи, – и к тому же он всего лишь младший сын, но, с другой стороны, он получил стипендию, и даже младший сын такого человека, как издатель мистер Понтифекс, непременно должен обрести что-то вполне приличное.

– О да, моя дорогая! – воскликнула миссис Элэби удовлетворенно. – Это, пожалуй, приемлемо.

# Глава 10

Беседа, как и вообще все хорошее, должна была закончиться; дни стояли короткие, а миссис Элэби предстояло ехать до Крэмпсфорда шесть миль. Когда она закуталась и уселась на свое место, factotum[8] мистера Элэби Джеймс не мог заметить в ней никакой перемены и вовсе не догадывался, какие восхитительные видения вез он домой вместе со своей хозяйкой.

Профессор Кауи издавал работы у отца Теобальда, и по этой причине Теобальд с самого начала своей университетской карьеры был на особом счету у миссис Кауи. Последнее время она держала его под постоянным прицелом и почти в такой же мере считала своим долгом вычеркнуть его из своего списка молодых людей, которых нужно обеспечить женами, в какой бедная миссис Элэби считала своим долгом попытаться найти мужа для одной из своих дочерей. Теперь миссис Кауи написала ему и пригласила зайти, изъясняясь в выражениях, возбудивших его любопытство. Когда Теобальд явился, она завела речь о слабеющем здоровье мистера Элэби и, обойдя все трудности, какие были видимы только ей с позиции ее заинтересованности, перешла к тому, что Теобальду следует шесть предстоящих воскресных дней посещать Крэмпсфорд и исполнять половину обязанностей мистера Элэби за определенную плату – по полгинеи за воскресенье, так как миссис Кауи беспощадно сократила размер обычно принятого вознаграждения за этот труд, а Теобальду недостало сил сопротивляться.

Не ведая о планах, замышляемых против его душевного спокойствия, и не имея иного намерения, кроме как заработать три гинеи, да к тому же, возможно, удивить жителей Крэмпсфорда своей университетской ученостью, Теобальд явился в дом приходского священника одним воскресным утром в начале декабря – всего несколько недель спустя после своего посвящения в духовный сан – . Он основательно потрудился над своей проповедью, темой которой была геология, ставшая в то время главным источником неприятностей для богословов. Он показал, что в той мере, в какой геология вообще обладает какой-либо ценностью, – а он был слишком прогрессивен, чтобы отнестись к ней с полным пренебрежением, – она подтверждает абсолютно исторический характер Моисеева описания сотворения мира, как оно дано в Книге Бытия. Любые явления, которые на первый взгляд кажутся противоречащими данному представлению, – это всего лишь частные случаи, несостоятельные при ближайшем рассмотрении. Изысканнее стиля нельзя было и представить, и, когда Теобальд пришел в дом приходского священника, где должен был отобедать в перерыве между службами, мистер Элэби тепло поздравил его с дебютом, а все дамы этого семейства просто слов не могли найти для выражения своего восхищения.

Теобальд не знал о женщинах ничего. Единственными женщинами, с которыми ему довелось общаться, были его сестры, две из которых всегда делали ему замечания, да еще их школьные подруги, которых по настоянию сестер отец приглашал в Элмхерст. Эти юные леди были либо настолько застенчивы, что никогда не общались с Теобальдом, либо мнили себя умными и говорили ему колкости. Он сам не говорил колкостей и не желал, чтобы их говорили другие. Кроме того, они вели беседы о музыке – а он не любил музыку, или о картинах – а он не любил картины, или о книгах – а он, за исключением классиков, не любил книги. К тому же от него иногда требовали, чтобы он танцевал с ними, а он не умел танцевать и не хотел учиться.

На званых вечерах у миссис Кауи он встречал некоторых барышень и был представлен им. Он старался понравиться, но у него всегда оставалось чувство, что это ему не удалось. Юные леди из кружка миссис Кауи отнюдь не были самыми привлекательными девушками в университете, и Теобальду можно простить, что он остался равнодушен к большинству из них, а если даже он на пару минут и проникался чувством к какой-либо из наиболее хоро-

[8] factotum – Здесь: слуга (лат.)

шеньких и милых девушек, то почти тотчас же кто-нибудь менее застенчивый оттеснял его, и он сникал, чувствуя себя в отношении прекрасного пола подобно тому расслабленному у целебного источника Вифезда.

Не возьмусь сказать, что смогла бы сделать из Теобальда по-настоящему прекрасная девушка, но судьба не послала ему ни одной такой девушки, кроме его самой младшей сестры Алетеи, которую он, может, и полюбил бы, не будь она его сестрой. Результатом его опыта стало убеждение, что от женщин ему добра не видать, и он не привык связывать мысль о них с каким-либо удовольствием; если это и была роль Гамлета в отношениях с женщинами, то она была так основательно сокращена в издании пьесы, в которой Теобальду требовалось играть, что он перестал верить в реальность этой роли. Что же до поцелуев, то он никогда в жизни не целовал ни одной женщины, за исключением своих сестер, – а также моих сестер, когда все мы были маленькими детьми. Помимо этих поцелуев он вплоть до недавней поры обязан был по утрам и вечерам запечатлевать положенный по ритуалу вялый поцелуй на щеке своего родителя, и этим, насколько мне известно, познания Теобальда по части поцелуев ограничивались к тому времени, о котором я сейчас пишу. Вследствие всего вышесказанного он невзлюбил женщин как таинственных существ, чей образ действий отличен от его образа действий и чьи мысли отличны от его мыслей.

С таким опытом за плечами Теобальд, естественно, почувствовал немалое смущение, обнаружив, что стал предметом восхищения пяти незнакомых барышень. Помню, как однажды в детстве я был приглашен на чай в девичий пансион, где училась одна из моих сестер. Мне было тогда лет двенадцать. Во время чаепития, пока присутствовала директриса, все шло хорошо. Но наступил момент, когда она удалилась, и я остался наедине с девочками. В ту же минуту, как за учительницей закрылась дверь, одна из старших девочек, примерно моего возраста, подошла ко мне, указала на меня пальцем, скорчила гримасу и произнесла с высокомерным видом:

– Проти-и-ивный мальчи-и-ишка!

Все девочки одна за другой последовали ее примеру, повторяя тот же жест и то же посрамление меня за то, что я «мальчи-и-шка». Это нагнало на меня такого страху, что я, кажется, заплакал, и, думаю, прошло много времени, прежде чем я снова смог при виде какой-нибудь девочки не испытывать сильного желания убежать.

Поначалу Теобальд испытывал во многом то же, что и я в девичьем пансионе, но барышни Элэби не сказали ему, что он «противный мальчи-и-шка». Их папа и мама были так приветливы, а сами они так искусно вовлекли его в беседу, что еще до того, как обед завершился, Теобальд счел эту семью просто очаровательной и почувствовал себя так, будто его впервые в жизни оценили по-настоящему.

К концу обеда его застенчивость исчезла. Он отнюдь не был невзрачен, его научный престиж был вполне значителен. В нем не было ничего, что могли бы счесть неприличным или смешным. Впечатление, какое он произвел на юных леди, оказалось столь же благоприятным, как и то, какое они произвели на него, ибо они знали о мужчинах ненамного больше, чем он о женщинах.

Сразу же после его ухода семейное согласие нарушила буря, поднявшаяся из-за вопроса о том, которой из барышень предстоит стать миссис Понтифекс.

– Милые мои, – сказал отец, увидев, что им вряд ли удастся самим уладить этот спор, – подождите до завтра, а потом сыграйте на него в карты.

Промолвив это, он удалился в свой кабинет, где его ждали вечерний стакан виски и трубка табака.

# Глава 11

На следующее утро, когда Теобальд занимался у себя в комнате с учеником, барышни Элэби в спальне старшей мисс Элэби затеяли карточную игру, ставкой в которой был Теобальд.

Победительницей вышла Кристина, вторая из незамужних дочерей, уже достигшая к тому времени двадцати семи лет и, следовательно, бывшая на четыре года старше Теобальда. Младшие сестры жаловались, что отдать Кристине попытку заполучить мужа – значит упустить жениха, так как она настолько старше Теобальда, что у нее нет ни единого шанса. Но Кристина проявила готовность бороться, прежде не свойственную ей, так как от природы она была уступчива и добродушна. Мать сочла за лучшее поддержать ее, а потому двух представляющих опасность сестер тут же отправили погостить к подругам, живущим достаточно далеко, остаться же позволили только тем, на чью преданность можно было положиться. Братья даже не догадывались о происходящем и думали, что отец взял помощника потому, что действительно в нем нуждается.

Оставшиеся дома сестры держали слово и помогали Кристине, чем могли, ибо, помимо правил честной игры, принимали в расчет и то, что, чем раньше ей удастся заполучить Теобальда, тем скорее могут прислать еще одного дьякона, которого, возможно, посчастливится выиграть им. Все устроили так быстро, что ко времени второго визита Теобальда в следующее воскресенье двух ненадежных сестер уже не было в доме.

На сей раз Теобальд чувствовал себя как дома у своих новых друзей – миссис Элэби настаивала, чтобы он именно так их называл. Она, по ее словам, просто по-матерински относится к молодым людям, особенно к священнослужителям. Теобальд верил каждому ее слову, как с самой юной поры верил своему отцу и вообще всем старшим. За обедом Кристина сидела подле него и вела игру не менее рассудительно, чем до этого в спальне своей сестры. Всякий раз, когда Теобальд заговаривал с ней, она улыбалась (а улыбка была одним из ее сильных аргументов); она пускала в ход всю свою бесхитростность и выставляла напоказ все свои невеликие достижения в самом, по ее мнению, привлекательном свете. Кто сможет осудить ее? Теобальд не был тем идеалом, о котором она грезила, читая Байрона со своими сестрами в спальне наверху, но в пределах возможного он был реальным претендентом и, в конце концов, неплохим претендентом, если уж на то пошло. Что еще могла она сделать? Убежать? Она не осмеливалась. Выйти замуж за человека ниже ее по положению и считаться позором для своей семьи? Она не осмеливалась. Остаться дома и превратиться в старую деву, над которой будут смеяться? Ни за что, если этого можно избежать. Она сделала то единственное, чего разумно было ожидать. Она тонула; Теобальд, возможно, был лишь соломинкой, но она могла за него ухватиться, вот и ухватилась.

Если в настоящей любви никогда не идет все гладко, то в деле правильного устройства браков такое порой случается. В данном случае посетовать можно было лишь на то, что дело двигалось слишком медленно. Теобальд принял назначенную ему роль легче, чем миссис Кауи и миссис Элэби смели надеяться. Благовоспитанность Кристины покорила его: он восхищался высоконравственным тоном ее речей; ее нежностью по отношению к сестрам, отцу и матери, ее готовностью взять на себя любое небольшое бремя, которое никто другой не выказывал желания взять, ее оживленностью – все это пленяло того, кто, хоть и не привык к женскому обществу, но был все же человеком. Теобальду льстило ее ненавязчивое, но явно искреннее восхищение им. Казалось, Кристина видела его в более благоприятном свете и понимала лучше, чем кто-либо до его встречи с этим очаровательным семейством. Вместо того чтобы отнестись к нему с пренебрежением, как его отец, брат и сестры, она вызывала его на разговор, внимательно слушала все, что он решался сказать, и явно хотела, чтобы он говорил еще и еще. Он сказал университетскому товарищу, что чувствует себя влюбленным. И он действительно был

влюблен, поскольку общество мисс Элэби нравилось ему намного больше, чем общество его сестер.

Помимо уже перечисленных достоинств, у Кристины имелось еще одно – контральто, считавшееся очень красивым. У нее определенно было контральто, поскольку она не могла взять ноты выше ре в верхнем регистре. Единственным недостатком голоса было то, что он не достигал соответствующей низкой ноты и в нижнем регистре. В те времена, однако, в понятие контральто было принято включать даже сопрано, если сопрано не могло взять нот своего диапазона, и к тому же не требовалось, чтобы оно обладало тембром, которого мы теперь ждем от контральто. Недостающее ее голосу в смысле диапазона и силы восполнялось чувством, с каким она пела. Она транспонировала «Вечно прекрасных и чистых ангелов» в более низкую тональность, чтобы приспособить к своему голосу, подтверждая тем самым мнение своей матушки, считавшей, что Кристина обладает превосходным знанием законов гармонии. Мало того, она и каждую паузу украшала арпеджио от одного конца клавиатуры до другого согласно правилу, которому ее научила гувернантка. Так Кристина добавляла живости и красок мелодии, которая, по ее словам, должна восприниматься как довольно заунывная в той форме, какую придал ей Гендель. Что же до гувернантки, то та, уж конечно, была на редкость искусным музыкантом: она училась у знаменитого доктора Кларка из Кембриджа и обыкновенно исполняла увертюру к «Аталанте» в аранжировке Маццинги.

Тем не менее, прошло некоторое время, прежде чем Теобальд натянул струну своей решимости, чтобы сделать предложение. Он довольно ясно давал понять, что чувствует себя очень увлеченным, но проходил месяц за месяцем, а Теобальд все по-прежнему оставался подающим большие надежды, так что мистер Элэби, не смея обнаружить, что в состоянии самостоятельно исполнять свой пастырский долг, постепенно терял терпение из-за количества потраченных полугиней, – предложения же все так и не было. Мать Кристины уверяла Теобальда, что ее дочь – лучшая дочь на свете, и будет бесценным сокровищем для мужчины, который на ней женится. Теобальд с жаром вторил мнениям миссис Элэби, но все же, хоть и посещал дом приходского священника два-три раза в неделю помимо воскресных визитов, предложения не делал.

– Ее сердце еще свободно, дорогой мистер Понтифекс, – сказала однажды миссис Элэби, – по крайней мере, я так думаю. Это не из-за отсутствия поклонников – о нет! – у нее их было предостаточно, – но ей очень, очень трудно понравиться. Думаю, однако, она не устоит перед серьезным и хорошим человеком. – И она пристально посмотрела на покрасневшего Теобальда.

Но шли дни, а он так и не делал предложения.

Как-то Теобальд даже доверился миссис Кауи, и читатель может догадаться о том, какое мнение о Кристине он от нее услышал. Миссис Кауи попыталась возбудить в нем ревность и намекнула на возможного соперника. Теобальд очень встревожился, или счел себя встревоженным. Некое подобие мук ревности мелькнуло в его душе, и он с гордостью уверовал, что не только влюблен, но влюблен отчаянно, иначе никогда бы не почувствовал такой ревности. Тем не менее, по-прежнему проходил день за днем, а он все не делал предложения.

Семейство Элэби проявило немалую рассудительность: Теобальду потакали до тех пор, пока пути к отступлению не были практически отрезаны, хотя он все еще тешил себя мыслью, что они открыты. В один прекрасный день, спустя примерно шесть месяцев после того, как Теобальд стал почти ежедневно бывать в доме, зашла как-то беседа о длительных помолвках.

– Я не люблю длительных помолвок, мистер Элэби, а вы? – необдуманно сказал Теобальд.

– Не люблю, – в тон ему ответил мистер Элэби, – как и длительных ухаживаний. – И послал Теобальду такой взгляд, что тот не осмелился сделать вид, будто не понял его.

Он поспешил в Кембридж с такой скоростью, на какую только был способен, и в ужасе от беседы с мистером Элэби, в которой он чувствовал угрозу, сочинил следующее письмо, которое в тот же день отправил с посыльным в Крэмпсфорд. В письме говорилось:

> Дражайшая мисс Кристина!
>
> Не знаю, догадались ли Вы о чувствах, которые я давно испытываю к Вам, – чувствах, которые я как мог скрывал из страха обязать Вас помолвкой, которая, если Вы согласитесь на нее, должна продлиться в течение значительного времени, – но, как бы то ни было, я более не в силах скрывать их. Я люблю Вас, пылко, преданно, и пишу эти строки, чтобы просить Вас стать моей женой, так как не осмеливаюсь доверить моим устам выразить всю силу моей любви к Вам.
>
> Я не могу сказать, что предлагаю Вам сердце, никогда не знавшее ни любви, ни разочарования. Я любил уже, и сердце мое долгие годы не могло излечиться от печали, испытанной при известии, что та, которую я любил, будет принадлежать другому. Однако это в прошлом, и, встретив Вас, я порадовался тому разочарованию, какое, как мне одно время казалось, станет для меня роковым! Оно сделало меня менее пылким поклонником, чем я, вероятно, был бы при иных обстоятельствах, но десятикратно увеличило мою способность оценить Ваши многочисленные достоинства и мое желание, чтобы Вы стали моей женой. Прошу, пошлите мне несколько ответных строчек с тем же посыльным и дайте знать, принято мое предложение или нет. Если Вы дадите согласие, я немедленно явлюсь, чтобы поговорить об этом с мистером и миссис Элэби, которых, надеюсь, мне будет позволено когда-нибудь назвать отцом и матерью.
>
> Должен предупредить Вас, что в случае Вашего согласия стать моей женой могут пройти годы, прежде чем мы сможем заключить наш союз, поскольку я не могу жениться, пока колледж не предложит мне прихода. Таким образом, если Вы сочтете нужным отказать мне, я буду скорее огорчен, нежели удивлен.
>
> *Вечно преданный Вам*
> *Теобальд Понтифекс*

И это было все, что частная школа и университетское образование смогли сделать для Теобальда! Тем не менее, сам он был довольно высокого мнения о письме и поздравлял себя в особенности с тем, как ловко придумал историю о прежней любви, которой намеревался защитить себя, если бы Кристина посетовала на недостаток пылкости с его стороны.

Нет нужды приводить ответ Кристины, который, конечно же, содержал согласие. Как Теобальд ни боялся старого мистера Элэби, не думаю, чтобы он сумел набраться решимости сделать предложение, если бы не то обстоятельство, что помолвке непременно предстояло быть долгой, а за это время могло произойти множество событий, способных ее расторгнуть. Как бы сильно он, возможно, ни осуждал длительные помолвки, когда дело касалось других людей, сомневаюсь, что у него было какое-либо особое возражение против длительности в собственном случае. Двое влюбленных подобны закату и восходу: эти явления происходят каждый день, но мы очень редко обращаем на них внимание. Теобальд изображал из себя самого пылкого влюбленного, какого только можно вообразить, но, используя вульгарное выражение, которое нынче в моде, все это было «позерство». Кристина была влюблена, как, впрочем, влюблялась уже раз двадцать. Но в ту пору Кристина была впечатлительна и не могла даже слышать название «Миссолунги», без того чтобы не разразиться рыданиями. Когда в один из воскресных дней Теобальд случайно оставил свой портфель с проповедями, она спала с этим портфелем

на груди и была в отчаянии, когда должна была в следующее воскресенье, так сказать, расстаться с ним. Не думаю, однако, чтобы Теобальд когда-либо брал с собой в постель хотя бы старую зубную щетку Кристины. А между тем я знавал некогда одного молодого человека, который, завладев коньками своей возлюбленной, спал с ними в течение двух недель и плакал, когда должен был их отдать.

# Глава 12

С помолвкой Теобальда все обстояло наилучшим образом, но в конторе на Патерностер-роу пребывал лысый розовощекий пожилой джентльмен, которому сын рано или поздно должен был сообщить о своем намерении, и сердце Теобальда трепетало, когда он спрашивал себя, как этот пожилой джентльмен посмотрит на создавшееся положение. Но все тайное должно стать явным, и Теобальд с его суженой решили, возможно, опрометчиво, сразу чистосердечно во всем признаться. Он написал лишь то, что, по его мнению и мнению Кристины, помогавшей ему составлять письмо, подобало написать сыну, и выражал желание вступить в брак без долгих отлагательств. Он не мог умолчать об этом, поскольку Кристина была рядом, и к тому же он знал, что ничем не рискует, поскольку можно было не сомневаться, что отец не станет ему помогать. В заключение Теобальд просил отца использовать все доступное влияние, чтобы посодействовать ему в получении прихода, поскольку в ожидании вакантного места в каком-нибудь из подчиненных колледжу приходов могут пройти годы, и иного шанса для возможной женитьбы не предвидится, так как с вступлением в брак он, безусловно, потеряет право на стипендию, а у его невесты денег также нет.

Любой шаг Теобальда непременно вызывал неодобрение со стороны отца, но намерение сына в возрасте двадцати трех лет жениться на девушке без средств, которая была старше его на четыре года, давало прекрасную возможность выразить возмущение, чем пожилой джентльмен, – а я могу называть его так, поскольку ему было тогда по меньшей мере лет шестьдесят, – воспользовался со свойственным ему рвением. Получив письмо сына, он написал:

> «Несказанное безрассудство твоей воображаемой страсти к мисс Элэби внушает мне самые серьезные опасения. Делая скидку на все ослепление влюбленности, я все же не сомневаюсь, что эта барышня – благовоспитанная и приятная молодая особа, за которую не пришлось бы стыдиться нашей семье, но, будь она десятикрат желательнее в качестве невестки, чем я могу позволить себе надеяться, ваша общая бедность служит непреодолимым препятствием к браку. У меня четверо детей кроме тебя, и мои расходы не позволяют откладывать деньги. Нынешний год был особенно тяжел, ведь мне пришлось купить два отнюдь не малых участка земли, которые оказались выставлены на продажу и были необходимы, чтобы дополнить земельную собственность, границы которой я давно намеревался выровнять таким образом. Не считаясь с расходами, я дал тебе образование, которое обеспечило тебе приличный доход в том возрасте, когда многие молодые люди еще не имеют материальной независимости. Таким образом, я помог тебе прочно стать на ноги и могу требовать, чтобы впредь ты перестал быть для меня обузой. Длительные помолвки, по пословице, к добру не ведут, а в данном случае срок помолвки представляется нескончаемым. Какое это мое влияние, скажи на милость, ты имеешь в виду, чтобы я мог найти для тебя приход? Неужели я должен колесить по стране, умоляя людей позаботиться о моем сыне, потому что он вбил себе в голову намерение жениться, не имея на то достаточных средств?
>
> Я не хочу этим письмом выказать суровость, нет ничего более чуждого тем чувствам, какие я испытываю к тебе, – но нередко в разговоре начистоту больше доброжелательности, чем в обилии ласковых слов, которые не ведут ни к какому серьезному решению. Конечно, я принимаю во внимание, что ты уже совершеннолетний и, следовательно, можешь поступать как тебе угодно, но если ты решишь следовать лишь строгой букве закона и действовать,

не принимая в расчет чувства своего отца, то не удивляйся, если однажды обнаружишь, что и я заявлю свое право на такую же свободу действий.

*Верь мне, любящему тебя отцу.*

*Дж. Понтифекс».*

Письмо это я нашел вместе с приведенными выше и еще несколькими, которые приводить нет нужды; во всех них преобладает тот же тон, и каждое заканчивается более или менее явной угрозой изменить завещание. Если учесть, что Теобальд почти никогда не говорил о своем отце на протяжении многих лет нашего знакомства после смерти мистера Понтифекса, тот факт, что он сохранил эти письма и надписал их: «Письма моего отца», представляется красноречивым. Чувствуется в этом некое едва уловимое присутствие здоровья и жизненной силы.

Теобальд не показал отцовское письмо Кристине, да, думается, и никому другому. Он был по натуре скрытен, и к тому же с самых ранних лет находился под слишком сильным давлением, чтобы быть в состоянии пожаловаться или дать выход чувствам, которые испытывал по отношению к отцу. Его чувство обиды было еще смутным, он ощущал его лишь как некое бремя, вечно тяготившее его и днем, и даже, случись ему проснуться, ночью, но едва ли понимал, что это такое. Я был чуть ли не самым близким его другом, но виделся с ним лишь изредка, поскольку не мог долго оставаться с ним в ладах. Он говорил, что я напрочь лишен почтительности, тогда как я полагал, что у меня предостаточно почтения к тому, что заслуживает почтения, но богов, которых он считал золотыми, я считал сделанными из менее благородного металла. Он никогда, как я уже говорил, не жаловался мне на своего отца, а его остальные друзья были, подобно ему, степенны и чопорны, и в согласии с евангелическим уклоном преисполнены сознания греховности любого проявления непокорности родителям, – воистину послушные молодые люди, – а при послушном молодом человеке не дашь выход своим чувствам.

Когда Кристина узнала от своего возлюбленного о несогласии его отца и о том, сколько времени, вероятно, должно пройти, прежде чем они смогут пожениться, она предложила – не знаю, насколько искренне, – освободить его от данного им обязательства. Но Теобальд отказался от этой свободы.

– По крайней мере, – сказал он, – не сейчас.

Кристина и миссис Элэби знали, что смогут с ним справиться, и на этом не слишком прочном основании помолвка продолжала держаться.

Помолвка и отказ взять назад свои обязательства сразу же возвысили Теобальда в собственных глазах. При всей его заурядности он обладал немалой долей тайного самодовольства. Он восхищался собой за свои университетские заслуги, за целомудренность своей жизни (я сказал о нем однажды, что, будь у него характер получше, он был бы столь же невинен, как только что снесенное яйцо), а также за свою безупречную честность в денежных делах. Он не терял надежды далеко продвинуться в Церкви, стоит ему только получить приход, и, конечно, было вполне возможно, что в один прекрасный день он станет епископом, а Кристина, по ее словам, пребывала в убеждении, что, в конечном счете, так и будет.

Естественно, как дочь и будущая жена священника, Кристина много думала о религии и решила, что, пусть в высоком положении в этом мире ей и Теобальду отказано, их добродетели будут сполна оценены в мире ином. Ее религиозные представления абсолютно совпали с представлениями Теобальда, и как же много бесед она вела с ним о славе Божьей и о беззаветности, с какой они станут служить ей, когда Теобальд получит приход, и они поженятся. Столь уверена была она в великих деяниях, которые тогда воспоследуют, что порой дивилась слепоте Провидения в отношении его же, Провидения, вернейшей пользы: нет бы немного побыстрее устранить приходских священников, стоящих на пути Теобальда к его приходу.

В те времена люди веровали с таким простодушием, какого я теперь у образованных мужчин и женщин не замечаю. Теобальду даже в голову никогда не приходило сомневаться в бук-

вальной правильности каждого слова Библии. Он никогда не видел ни одной книги, в которой она бы оспаривалась, и не встречал ни одного человека, сомневающегося в ней. Правда, возникла небольшая паника из-за геологии, но это были сущие пустяки. Коль сказано, что Бог сотворил мир за шесть дней, значит, Он и сотворил его именно за шесть дней, ни больше, ни меньше. Коль сказано, что Он навел на Адама сон, взял одно из ребер его и сотворил из него женщину, то так, разумеется, и было. Он, Адам, уснул, как мог бы уснуть и он, Теобальд Понтифекс, в саду, и это мог бы быть сад, похожий на сад приходского священника в Крэмпсфорде в летнюю пору, когда он так хорош, только тот был больше и в нем обитали прирученные дикие звери. Затем Бог подошел к нему, как мог бы подойти мистер Элэби или его отец, проворно вынул одно из ребер, не разбудив его, и чудесно заживил рану, так что не осталось никакого следа этой операции. Наконец, Бог унес ребро, возможно, в теплицу и превратил его в точно такую же молодую женщину, как Кристина. Вот так это и было сделано. Нет никакой трудности и даже тени трудности относительно этого дела. Разве не мог Бог делать все, что Ему захочется, и разве Он в Его собственной боговдохновенной Книге не рассказал нам, как Он сделал это?

Таково было обычное отношение довольно образованных молодых мужчин и женщин к Моисеевой космогонии пятьдесят, сорок и даже двадцать лет назад. Борьба с неверием, следовательно, открывала мало простора для активных молодых священнослужителей, да и Церковь еще не пробудилась к деятельности, которую позднее предприняла среди бедняков в наших больших городах. А в ту пору они, почти без всяких попыток к сопротивлению или к сотрудничеству, были предоставлены трудам тех, кто пришел на смену Уэсли. Миссионерская работа, конечно, продолжалась с некоторой энергией в языческих странах, но Теобальд не чувствовал никакого призвания к миссионерству. Кристина не раз предлагала ему это и уверяла, что будет невыразимо счастлива стать женой миссионера и делить с ним все опасности. Они с Теобальдом могли бы даже подвергнуться мученической смерти. Разумеется, они подверглись бы мученической смерти одновременно, и это предстоящее в далекой перспективе мученичество, как оно представлялось из беседки в саду приходского священника, не причиняло страданий; оно гарантировало бы им блистательную будущность в мире ином и, уж во всяком случае, посмертную славу в этом, даже если бы они не были чудесным образом вновь воскрешены – а такое прежде случалось с мучениками. Теобальд, однако, не воспламенился энтузиазмом Кристины, а потому она принялась за Католическую Церковь – врага более опасного, если это вообще возможно, чем само язычество. Сражение с папизмом также могло бы обеспечить ей и Теобальду венец мученичества. Правда, Католическая Церковь как раз тогда вела себя довольно смирно, но то было затишье перед бурей, в это Кристина веровала верой более глубокой, чем та, которой она могла бы проникнуться посредством какого-либо аргумента, основанного на разуме.

– Мы, дорогой Теобальд, – воскликнула она как-то, – всегда будем преисполнены веры! Мы будем стоять твердо и поддерживать друг друга даже в смертный час. Бог в Его милосердии может избавить нас от сожжения заживо. В Его силах сделать или не сделать это. О, Боже, – и она возвела молящий взгляд к небесам, – пощади моего Теобальда или допусти, чтобы он мог быть обезглавлен.

– Моя дорогая, – степенно отвечал Теобальд, – не будем волноваться чрезмерно. Если настанет час суда, мы встретим его наилучшим образом подготовленными, ведя тихую, скромную жизнь, исполненную самоотречения и преданности славе Божьей. О такой жизни и станем молить Бога, дабы Ему угодно было дать нам силы молиться о таком препровождении жизни.

– Дорогой Теобальд, – вскричала Кристина, утирая навернувшуюся слезу, – ты всегда, всегда прав. Будем же самоотверженны, чисты, верны, честны в слове и деле. – Произнося это, она молитвенно сложила руки и устремила взор в небеса.

– Дорогая, – отвечал ее возлюбленный, – мы всегда и прежде старались быть именно такими; мы не были суетными людьми. Станем же бодрствовать и молиться, дабы оставаться такими до последнего часа.

Взошла луна, в беседке становилось сыро, а потому они отложили дальнейшие воздыхания до более подходящей поры. В других случаях Кристина изображала себя и Теобальда мужественно претерпевающими поношения чуть ли не от всего рода человеческого при осуществлении некоего великого дела, предназначенного послужить славе Спасителя. Ради этого она готова была выдержать все. Но всегда ее видения заканчивались сценкой коронации высоко в златых небесных сферах, когда ей на голову возлагался венец самим Сыном Человеческим в окружении сонма ангелов и архангелов, взирающих с завистью и восхищением, – однако Теобальд при этом не присутствовал. Если бы существовала такая особа, как мамона праведности, Кристина бы, конечно, свела с ней дружбу. Батюшка и матушка – очень почтенные люди, и в положенный срок обретут небесную обитель, в которой им будет чрезвычайно удобно. Столь же несомненно обретут ее и сестры, а возможно, даже и братья. Но ей самой, как она чувствовала, уготована более высокая судьба, и ее долг никогда не терять из виду перспективу такой судьбы. Первым шагом на этом пути должен стать брак с Теобальдом. Но, несмотря на эти взлеты религиозного романтизма, Кристина была довольно славной, добродушной девушкой, которая, стань она супругой благоразумного мирянина, скажем, хозяина гостиницы, превратилась бы в хорошую хозяйку и пользовалась бы заслуженной симпатией со стороны постояльцев.

Такой была жизнь Теобальда в период помолвки. Пара обменивалась множеством маленьких подарков, и множество маленьких сюрпризов готовили они на радость друг другу. Они никогда не ссорились, и никто из них никогда не флиртовал с кем-либо на стороне. Миссис Элэби и будущие золовки боготворили Теобальда, хотя его сватовство служило препятствием для того, чтобы явился и был разыгран в карты еще один дьякон, поскольку Теобальд продолжал помогать мистеру Элэби, теперь делая это, конечно, совершенно безвозмездно. Двое из сестер, однако, умудрились найти мужей прежде, чем Кристина вышла замуж, и в каждом случае Теобальд играл роль подсадной утки. В конечном счете, только две из семи дочерей остались незамужними.

По прошествии трех-четырех лет старый мистер Понтифекс свыкся с помолвкой сына и стал смотреть на нее как на нечто, имеющее по причине давности лет право на терпимое отношение. Весной 1831 года, через пять с лишним лет после того, как Теобальд впервые явился в Крэмпсфорд, неожиданно освободилось место в одном из самых лучших приходов, находившихся в ведении колледжа. По различным причинам двое старших коллег Теобальда его отклонили, хотя каждый из них, как ожидалось, должен был принять его. Приход этот, следовательно, предложили Теобальду, и он, конечно, его принял. Ему полагалось не менее пятисот фунтов в год, а также подходящий дом с садом. Тогда старый мистер Понтифекс расщедрился сверх ожидаемого и выделил сыну и невестке в пожизненное пользование десять тысяч фунтов с последующим имущественным правом для потомства по их усмотрению. В июле 1831 года Теобальд и Кристина стали мужем и женой.

# Глава 13

Положенное число старых башмаков было брошено вслед коляске, в которой счастливая пара отбыла от дома приходского священника, и вот коляска свернула за угол в конце деревни. Ее еще можно было видеть две-три сотни ярдов медленно катящейся мимо молодого ельника, а затем она скрылась из виду.

– Джон, закрой ворота, – сказал мистер Элэби своему слуге и направился в дом со вздохом облегчения, который, казалось, означал: «Я сделал это и еще жив». То была реакция на взрыв бурного оживления, с каким старый джентльмен пробежал двадцать ярдов вслед коляске, чтобы бросить в нее комнатную туфлю, что надлежащим образом и исполнил.

Но каковы были чувства Теобальда и Кристины, когда деревня осталась позади, и они медленно покатили мимо молодых елочек? Именно в такой момент должно дрогнуть даже самое преданное сердце, если только оно бьется не в груди того, кто по уши влюблен. Ежели молодой человек пребывает посреди неспокойного моря в утлом челне рядом со своей нареченной, и оба страдают от приступа морской болезни, и ежели чувствующий тошноту обожатель способен забыть о собственной муке ради счастья поддерживать головку своей возлюбленной, когда ей особенно худо, значит, он влюблен, и нет опасности, что его сердце дрогнет, пока он будет проезжать мимо чего-нибудь вроде еловых насаждений. Другие же – а, увы, подавляющее число новобрачных следует отнести к этим «другим» – неизбежно испытают в течение этой четверти или половины часа упадок духа, более или менее глубокий, в зависимости от обстоятельств. Если принять во внимание количественные показатели, то мне кажется, что на улицах, ведущих от собора Святого Георгия, что на Ганновер-сквер, было пережито больше душевных страданий, чем в камерах смертников Ньюгейтской тюрьмы. Нет для мужчины времени ужаснее, чем первые полчаса, когда он остается наедине с женщиной, на которой женился без настоящей любви – ибо тогда он ощущает прикосновение холодной руки той, которую итальянцы называют la figlia della Morte[9].

Дочь Смерти не пощадила и Теобальда. До того момента он держался очень хорошо. Когда Кристина предложила дать ему свободу, он остался на своем посту, проявив великодушие, которым с тех пор кичился. Он не раз говорил себе: «Во всяком случае, я – воплощение чести. Я не из тех, кто…» – и т. д., и т. п. Правда, в момент проявления великодушия срок расплаты наличными, если можно так выразиться, был еще далек. Когда отец дал официальное согласие на его брак, дело начало принимать более серьезный оборот. Когда освободилось и было принято место в одном из подчиненных колледжу приходов, положение стало выглядеть еще серьезнее. Но когда Кристина назвала конкретный день, Теобальд пал духом.

Помолвка длилась так долго, что он привык к сложившемуся положению вещей, и перспектива перемен смущала его. Они с Кристиной отлично ладили так много лет, думалось ему; так почему… почему… почему бы им и всю оставшуюся жизнь не продолжать жить так, как они живут сейчас? Но у него было не больше шансов на спасение, чем у барана, которого тащат на бойню, и, подобно барану, он чувствовал, что сопротивление ничего не даст, а потому и не сопротивлялся. Он вел себя действительно благопристойно, и был, по общему мнению, счастливейшим человеком на свете.

Но теперь (если использовать другую метафору) подставка упала из-под ног висельника, и бедняга повис в воздухе вместе с предметом своей привязанности. Предмету было теперь тридцать три года, и внешний вид в полной мере соответствовал возрасту; она плакала, глаза и нос покраснели от плача. Если на лице мистера Элэби после того, как он бросил туфлю, было написано «я сделал это и еще жив», то на лице Теобальда, когда он ехал мимо ельника,

[9] la figlia della Morte* – дочь Смерти (ит.)

было выражение «я сделал это, и не знаю, как мне жить дальше». Этого, однако, нельзя было разглядеть из дома приходского священника. Все, что оттуда могли увидеть, – это мелькание головы форейтора над изгородью у обочины, когда он привставал в стременах, да черно-желтый корпус коляски.

Некоторое время пара хранила молчание. Что эти двое должны были чувствовать в течение первого получаса их брака, пусть читатель догадается сам, ибо поведать ему об этом выше моих сил. Однако по истечении упомянутого периода времени Теобальд извлек из какого-то дальнего закоулка своей души заключение: поскольку, мол, теперь они с Кристиной женаты, то, чем скорее они вступят в предстоящие взаимоотношения, тем лучше. Если люди, находящиеся в трудном положении, сделают всего лишь первый разумный шажок, который определенно смогут признать разумным, то им всегда будет легче и понять, каков должен быть следующий шаг, и сделать его. Что же тогда, думал Теобальд, следует счесть в этот момент первостепенным и наиболее очевидным делом и как по справедливости распределить его и Кристины обязанности в этом деле? Ясно, что совместным вступлением в обязанности и удовольствия супружеской жизни будет их первый обед. Не менее ясно и то, что обязанность Кристины – заказать обед, а его обязанность – съесть обед и заплатить за него.

Аргументы, ведущие к этому заключению, и само заключение внезапно пришли в голову Теобальда приблизительно через три с половиной мили после отъезда из Крэмпсфорда, по дороге в Ньюмаркет. Он позавтракал рано утром, но без обычного для него аппетита. Они покинули дом приходского священника в полдень, не оставшись на свадебный завтрак. Теобальд привык обедать рано, и до его сознания дошло, что он начинает чувствовать голод. От этого чувства к заключению, изложенному в предыдущем абзаце, путь был нетруден. После нескольких минут дальнейших раздумий он приступил к обсуждению этой темы с новобрачной, и, таким образом, лед был сломан.

Миссис Понтифекс не была готова к столь внезапному принятию на себя важной роли. Ее нервы, никогда не отличавшиеся крепостью, были натянуты утренними событиями до предела. Она хотела укрыться от глаз людских, поскольку чувствовала, что выглядит немного старше, чем ей весьма хотелось выглядеть в качестве новобрачной, вышедшей замуж нынешним утром. Она боялась хозяйки гостиницы, горничной, трактирного слуги – всех и вся. Ее сердце колотилось так сильно, что она едва могла говорить, не то что проходить испытание заказыванием обеда в незнакомой гостинице у незнакомой хозяйки. Кристина просила и молила избавить ее от этого. Если бы только Теобальд согласился заказать обед в этот раз, она бы заказывала обеды во все дни будущей жизни.

Но неумолимый Теобальд был не таков, чтобы от него можно было отделаться под столь нелепыми предлогами. Теперь он был хозяином. Разве менее двух часов назад Кристина не давала торжественного обещания почитать его и повиноваться ему, и неужели теперь она будет упрямиться из-за такого пустяка? Ласковая улыбка исчезла с его лица и сменилась хмурой гримасой, которой мог бы позавидовать этот старый деспот, его отец.

– Вздор и чушь, моя дорогая Кристина, – воскликнул он и топнул ногой по полу коляски, – обязанность жены – заказать обед для своего мужа! Ты – моя жена, и я вправе ожидать, что ты закажешь мне обед. – Ибо без логики Теобальд был пустым местом.

Новобрачная, заплакав, сказала, что он недобр. На это он ничего не ответил, но в душе у него творилось нечто неописуемое. Вот, значит, каков итог его шестилетней неизменной преданности! Вот, значит, какова награда за то, что, когда Кристина предложила дать ему свободу, он не отказался от своего обязательства! Вот, значит, каков итог ее разглагольствований о долге и одухотворенности, раз теперь, в день своей свадьбы, она не в состоянии понять, что первый шаг к смирению перед Богом состоит в смирении перед мужем! Он вернется в Крэмпсфорд; он пожалуется мистеру и миссис Элэби. Он вовсе не хотел жениться на Кристине; да он еще

и не женился на ней; все это был ужасный сон. Он… Но в его ушах неумолчно звучал голос, который повторял: «ТЫ НЕ МОЖЕШЬ, НЕ МОЖЕШЬ, НЕ МОЖЕШЬ».

«НЕ МОГУ?» – вскричало про себя несчастное создание.

«НЕТ, – отвечал безжалостный голос, – НЕ МОЖЕШЬ. ТЫ – ЖЕНАТЫЙ ЧЕЛОВЕК».

Теобальд откинулся в свой угол коляски и впервые осознал, сколь несправедливы английские законы о браке. Но он купит прозаические сочинения Мильтона и прочитает его трактат о разводе. Возможно, они найдутся в Ньюмаркете.

Итак, новобрачная плакала в одном углу коляски, а новобрачный дулся в другом и боялся ее так, как только может бояться новобрачный.

Вскоре, однако, из угла новобрачной послышался слабый голос, который произнес:

– Дорогой Теобальд, дорогой Теобальд, прости меня. Я была ужасно, ужасно неправа. Пожалуйста, не сердись на меня. Я закажу… – Но слово «обед» потонуло в нахлынувших рыданиях.

Когда Теобальд услышал эти слова, тяжесть начала спадать с его души, но он лишь посмотрел в сторону жены, причем не слишком-то приветливо.

– Пожалуйста, скажи мне, – продолжал голос, – чего тебе хотелось бы, и я попрошу хозяйку гостиницы, когда мы приедем в Ньюмар… – Но еще один взрыв рыданий заглушил конец слова.

На сердце у Теобальда становилось все легче и легче. Возможно, она вовсе и не собирается держать его под башмаком? И, кроме того, разве она не перевела его внимание с собственной персоны на его предстоящий обед?

Отогнав большую часть своих опасений, он сказал, но все еще хмурясь:

– Думаю, мы могли бы поесть жаркого с подливой, молодой картошки с зеленым горошком, а там посмотрим, не дадут ли нам вишневый пирог со сливками.

Спустя еще несколько минут он прижимал ее к себе, осушая поцелуями ее слезы и уверяя, что знал, что она будет ему хорошей женой.

– Мой милый Теобальд, – воскликнула она в ответ, – ты ангел!

Теобальд поверил ей, и еще через десять минут счастливая пара вышла из экипажа у гостиницы в Ньюмаркете.

Как храбро справилась Кристина со своей трудной задачей! Как горячо умоляла она тайком хозяйку гостиницы не заставлять ее Теобальда ждать дольше, чем это совершенно необходимо!

– Если у вас есть какой-нибудь готовый суп, миссис Барбер, то, знаете ли, это могло бы ускорить дело на десять минут, поскольку мы могли бы есть суп, пока зажаривается мясо.

Видите, как необходимость придала ей решимости! Но, по правде говоря, у нее просто раскалывалась голова, и она отдала бы что угодно, лишь бы остаться одной.

Обед удался. Пинта хереса согрела душу Теобальда, и он начал надеяться, что несмотря ни на что все еще может наладиться. Он выиграл первое сражение, а это дает ему большое преимущество. И до чего это оказалось легко! Почему же он никогда не обращался так со своими сестрами? Он поступит именно так, когда увидит их в следующий раз. А со временем он, возможно, научится давать отпор брату Джону или даже отцу. Вот так мы и строим воздушные замки, когда возбуждены вином и победой.

Под конец медового месяца миссис Понтифекс являла собой самую преданную и послушную жену во всей Англии. Согласно старой пословице, Теобальд убил кошку в самом начале. Это была совсем маленькая кошечка, по сути, просто котенок, иначе Теобальд, вероятно, побоялся бы даже глянуть в ее сторону, но такого котенка, как этот, он вызвал на смертельный поединок и демонстративно поднял его безжизненно свисающую голову перед лицом жены. Остальное было нетрудно.

Странно, что тот, кого до сих пор я изображал человеком робким и податливым, совершенно неожиданно оказался таким деспотом в день своей свадьбы. Вероятно, я слишком быстро миновал годы его ухаживания. В эти годы он стал куратором в своем колледже и, наконец, младшим преподавателем. Я еще не встречал человека, чье чувство собственной значимости не возросло бы после того, как в течение пяти-шести лет он получал стипендию пастора-резидента. Правда, стоило Теобальду очутиться в радиусе десяти миль от отцовского дома, как на него находило какое-то наваждение, колени его начинали дрожать, вся его важность улетучивалась, и он снова чувствовал себя великовозрастным ребенком, пребывающим в постоянной немилости. Но в те годы он нечасто бывал в Элмхерсте, и, как только покидал его пределы, чары развеивались, и он опять становился стипендиатом и куратором, младшим преподавателем, суженым Кристины, кумиром всех женщин семейства Элэби. Из всего этого можно сделать вывод, что, если бы Кристина была индюшкой и распустила перья, демонстрируя готовность к отпору, Теобальд не рискнул бы перед ней важничать, но она не была индюшкой, она была всего лишь обычной домашней курицей и к тому же с намного меньшей долей личной отваги, чем обычно встречается у кур.

# Глава 14

Деревня, в которой Теобальд стал приходским священником, называлась Бэттерсби-Хилл. В ней было четыреста или пятьсот жителей, в основном фермеров и батраков, рассеянных по довольно обширной территории. Просторный пасторский дом стоял на склоне холма, с которого открывался восхитительный вид. Круг общения составляли немногочисленные соседи, но все они, за малым исключением, были священниками близлежащих деревень и членами их семей.

Понтифексов сочли ценным приобретением для местного общества. О мистере Понтифексе говорили, что он очень умен, что он был первым по классическим языкам и математике, что он просто талант, да еще обладающий к тому же основательным практическим здравым смыслом. Будучи сыном столь выдающегося человека, как знаменитый издатель мистер Понтифекс, он рано или поздно станет обладателем большого состояния. Разве у него нет старшего брата? Есть, но наследство будет столь велико, что Теобальд, вероятно, получит кое-что весьма значительное. Конечно, они станут давать званые обеды. А миссис Понтифекс, что за очаровательная женщина! Она, возможно, и не идеальная красавица, но у нее такая милая улыбка и такие изысканные и приятные манеры. Кроме того, она так предана своему мужу, а муж – ей. Они полностью соответствуют представлениям о том, какими были влюбленные в старые добрые времена. Редко встретишь такую пару в наш развращенный век. Это просто прекрасно и т. д., и т. п. Таковы были отзывы соседей о вновь прибывших.

Что касается прихожан Теобальда, то фермеры были вежливы, а батраки и их жены подобострастны. Имелось несколько отступников от истинной веры – наследие пренебрегавшего своими обязанностями предшественника, но миссис Понтифекс гордо заявляла по данному поводу:

– Думаю, Теобальд, без сомнения, справится с этим.

Здание церкви тогда представляло собой интересный образчик поздненорманнского стиля с некоторыми дополнениями раннеанглийского. Она была в том состоянии, какое сегодня назвали бы очень плохим, но сорок – пятьдесят лет назад немногие церкви были в хорошем состоянии. Если какая-либо черта и характеризует нынешнее поколение более, чем любая другая, так это то, что оно выступает великим реставратором храмов. Гораций проповедовал восстановление храмов в одной из своих од:

Delicta majorum immeritus lues,
Romane, donec templa refeceris
Aedesque labentes deorum et
Foeda nigro simulacra fumo[10].

Ничего так и не наладилось в Риме спустя много времени после эпохи Августа, но потому ли, что Рим восстанавливал храмы, или потому, что не восстанавливал их, не знаю. Они определенно пришли в полную негодность после времен Константина, и все же Рим до сих пор город значительный.

Должен сказать, что в первые же годы пребывания Теобальда в Бэттерсби он обнаружил простор для полезной деятельности в основательном ремонте деревенской церкви, и на это предприятие, стоившее значительных затрат, он щедро жертвовал собственные средства. Он взял на себя роль архитектора, чем сократил довольно крупные расходы. Но к 1834 году, когда

[10] За грех отцов ответчиком, римлянин,Безвинным будешь, храмов пока богамПовергнутых не восстановишь,Статуй, запятнанных черным дымом.Гораций. Оды. III. 6. Пер. Н. С. Гинцбурга

Теобальд начал это дело, понятие об архитектуре еще не окончательно сложилось, а потому результат оказался не столь удовлетворительным, каким мог бы быть, повремени Теобальд еще несколько лет.

Всякое творение человека, будь то произведение литературы, музыки, живописи, зодчества или какое-либо другое, – это всегда своего рода портрет этого человека, и, чем больше он старается скрыть себя, тем более отчетливо, вопреки его воле, будет проступать его характер. Я, вполне вероятно, выдаю себя все время, пока пишу эту книгу, так как знаю, что, нравится мне это или нет, я изображаю скорее себя, чем любого из тех персонажей, которых представляю читателю. Мне жаль, что это так, но я ничего не могу с этим поделать; а теперь, задобрив Немезиду этой подачкой, скажу, что церковь Бэттерсби в ее новом виде всегда казалась мне лучшим портретом Теобальда, чем мог бы создать любой скульптор или живописец, за исключением разве что какого-нибудь великого мастера.

Помню, я гостил у Теобальда спустя приблизительно шесть-семь месяцев после его женитьбы, когда церковь пребывала еще в первоначальном виде. Я вошел в церковь и почувствовал то же, что, должно быть, чувствовал в определенных обстоятельствах Нееман, когда ему приходилось сопровождать своего господина после того как он вернулся излечившимся от проказы. У меня сохранилось более яркое воспоминание о церкви и о людях в ней, чем о проповеди Теобальда. Как сейчас, вижу мужчин в синих рабочих блузах, доходящих им до пят, и нескольких старух в ярко-красных накидках; вижу стоящих в ряд деревенских парней, вялых, унылых, безучастных, с нескладными фигурами, некрасивыми лицами, безжизненных, апатичных, – племя, слишком сильно напоминающее французских крестьян дореволюционной поры, как они описаны Карлейлем, чтобы о нем приятно было размышлять; племя, на смену которому пришло теперь более сильное, более красивое и более внушающее надежды поколение, обнаружившее, что тоже имеет право на свою долю счастья, и яснее представляющее, каковы вернейшие пути его достижения.

Неуклюжей походкой, громко стуча подкованными башмаками, они один за другим входят в церковь, и от их дыхания идет пар – ведь на дворе зима. Входя, они стряхивают с себя снег, и сквозь открытую дверь я мельком вижу сумрачное свинцовое небо и запорошенные снегом надгробные плиты. И тут вдруг слышу, как в голове моей начинает звучать мелодия, написанная Генделем на стихи «Деревенский парень всегда под рукой», и ей уже никогда не забыться. Как прекрасно старик Гендель понимал этих людей!

Они кланяются Теобальду, проходя мимо кафедры («Люди в этих краях по-настоящему почтительны, – шепчет мне Кристина, – они чтут вышестоящих»), и занимают места на длинной скамье у стены. Певчие взбираются на галерею со своими инструментами – виолончелью, кларнетом и тромбоном. Я вижу их, а затем вскоре и слышу, так как перед началом службы исполняется гимн – безыскусный напев, если не ошибаюсь, какая-то литания, сохранившаяся от дореформационных времен. Около пяти лет назад в соборе Святых Джованни и Паоло в Венеции я слышал мелодию, которая, как мне кажется, была отдаленным музыкальным предшественником того гимна. И еще я слышал ее в далеких просторах Атлантики в серый июньский воскресный день. На море не было ни ветерка, ни волн, а потому эмигранты собрались на палубе, и их жалобный псалом возносился к скрытым серебристой дымкой небесам и разливался над пучиною моря, которое отвечало вздохом, пока не утратило сил вздыхать. Мелодию эту еще можно услышать на собрании методистов где-нибудь на склоне валлийского холма, но из церквей она исчезла навсегда. Будь я музыкантом, я взял бы ее темой для адажио в уэслианской симфонии.

Ушли в прошлое кларнет, виолончель и тромбон, безыскусные менестрели, подобные тем скорбным созданиям у Иезекииля, неблагозвучные, но бесконечно трогательные. Уж нет того громогласием наводящего на детей страх певца, того ревущего быка васанского, деревенского кузнеца, нет сладкоголосого плотника, нет дюжего рыжеволосого пастуха, который орал громче

всех, пока они не доходили до слов «Пастыри с твоими стадами покорными», когда чувство скромности приводило его в смущение и заставляло умолкнуть, словно провозглашали тост за его здоровье. Они были обречены и предчувствовали недоброе уже тогда, когда я впервые увидел их, но у них еще теплилась слабая надежда на то, что хор уцелеет, и они голосили во всю мочь:

Ру – ки зло – де – ев схва-ти – ли е – его, к дре – ву е – го при – гвоз – ди – ли о – ни…

Но никакое описание не в состоянии передать производимый эффект. Когда я в последний раз оказался в церкви Бэттерсби, там стояла фисгармония, на которой играла миловидная девушка, окруженная хором школьников, и они исполняли канты из «Гимнов древних и новых» в самом строгом соответствии с правилами церковных песнопений. Скамей с высокими спинками уже не было, да и саму галерею, на которой пел прежний хор, уничтожили как нечто отвратительное, способное напомнить людям о высотах; Теобальд был стар, а Кристина лежала под сенью тисовых деревьев на церковном кладбище.

Но вечером я увидел, как трое глубоких стариков выходили, посмеиваясь, из часовни диссентеров, и, конечно же, то были мои старые знакомцы – кузнец, плотник и пастух. Их лица излучали удовлетворенность, уверившую меня в том, что они недавно пели, – вряд ли с тем же великолепием, как в сопровождении виолончели, кларнета и тромбона, но все же песни Сиона, а не новомодного папизма.

# Глава 15

Гимн завладел моим вниманием; а когда он закончился, у меня было время приглядеться к прихожанам. Это были в основном фермеры – люди упитанные, весьма зажиточные, пришедшие с женами и детьми с удаленных на две-три мили ферм; ненавистники папизма и всего, что на чей-либо взгляд могло быть сочтено папистским; славные, рассудительные малые, питающие отвращение ко всякого рода теориям, видевшие идеал в сохранении status quo[11], любившие, возможно, предаваться воспоминаниям о временах былых войн и досадовавшие на погоду, если она нарушала их планы, желавшие зарабатывать побольше, а платить поменьше, но в остальном предпочитавшие минимум перемен; терпимо, а то и с любовью относившиеся ко всему привычному, ненавидевшие все непривычное. Их одинаково ужаснул бы и тот, кто подвергает христианскую религию сомнению, и тот, кто полностью ей следует.

– Что может быть общего у Теобальда с его прихожанами? – сказала мне Кристина вечером в гостиной, когда муж отлучился на несколько минут. – Конечно, нельзя жаловаться, но, уверяю вас, мне горько видеть такого способного человека, как Теобальд, заброшенным в такую глушь. Будь мы в Гэйсбэри, где поблизости, как вы знаете, находятся поместья семейств А., Б., В. и лорда Г., я бы не чувствовала, что мы живем в такой пустыне. А впрочем, это и к лучшему, – добавила она более веселым тоном, – ведь епископ, конечно, станет посещать нас всякий раз, приезжая в эти места, а живи мы в Гэйсбэри, он, должно быть, отправился бы к лорду Г.

Пожалуй, я сказал уже достаточно, чтобы дать представление о месте, в какое судьба забросила Теобальда, и о женщине, на которой он женился. Что касается его самого, то так и вижу, как он тащится по грязным проселочным дорогам вдоль необозримых пастбищ, служащих пристанищем для ржанок, чтобы посетить умирающую жену крестьянина. Он приносит ей мясо и вино с собственного стола, причем не какую-то малость, а не скупясь. И еще в меру своих способностей дает ей то, что ему угодно называть духовным утешением.

– Я боюсь, сударь, что попаду в ад, – хнычет больная. – О, сударь, спасите меня, спасите, не допустите, чтобы я попала туда. Я не могу этого выдержать, сударь, я умру от страха, от одной мысли об этом меня бросает в холодный пот.

– Миссис Томпсон, – степенно говорит Теобальд, – вы должны верить в драгоценную кровь вашего Спасителя. Только Он один может спасти вас.

– Но вы уверены, сударь, – произносит страдалица, с тоской глядя на него, – что Он простит меня? Ведь я была не очень-то хорошей женщиной, да уж, не очень… Если б только уста Господа молвили «да», когда я спрошу, прощены ли мне мои грехи…

– Но они же прощены вам, миссис Томпсон, – убеждает ее Теобальд с некоторой суровостью, поскольку одна и та же тема повторялась уже множество раз, и он уже целую четверть часа нес на себе груз дурных предчувствий несчастной женщины.

И вот он кладет конец беседе, повторяя молитвы из «Посещения болящих», и нагоняет на бедняжку такого страху, что она более не решается выражать беспокойства по поводу своего положения.

– Неужели вы не скажете мне, сударь, – восклицает она жалобно, видя, что он собирается уходить, – неужели вы не скажете мне, что нет никакого Судного дня и никакого ада?! Я могу обойтись без рая, сударь, но ад мне совсем ни к чему.

Теобальд в высшей степени возмущен.

– Миссис Томпсон, – патетически ответствует он, – попрошу вас в сей важный момент не допускать в свою душу никаких сомнений относительно этих двух основ нашей религии.

[11] status quo – существующего положения вещей (лат.)

Если и есть на свете что-то несомненное, так это то, что все мы предстанем пред Судом Христовым, и что грешники будут гореть в геенне огненной. Стоит усомниться в этом, миссис Томпсон, и вы пропали.

Бедная женщина зарывается трясущейся головой в одеяло в припадке страха, который находит, наконец, выход в рыданиях.

– Миссис Томпсон, – произносит Теобальд, берясь за ручку двери, – успокойтесь, не волнуйтесь. Вы должны верить моим словам, что в Судный день все ваши грехи будут отмыты добела кровью Агнца, миссис Томпсон. Да, – не выдержав, заключает он с яростью, – если даже будут они как багряное, как снег убелятся.

И он выбегает как можно скорее из зловонной хибары на свежий воздух. О, как же он рад, что беседа закончена!

Он возвращается домой с сознанием исполненного долга: ведь он дал умирающей грешнице религиозное утешение. Дома его ждет восхищенная жена, уверяющая, что никогда еще не бывало священника, столь преданного благу паствы. Он верит ей: по натуре он склонен верить всему, что говорят, да и кому обстоятельства дела известны лучше, чем его жене? Бедняга! Он сделал все что мог, но что толку рыбе прилагать все старания, если она не в воде? Он отнес мясо и вино – это он в состоянии сделать; он зайдет опять и оставит еще мяса и вина; день за днем он будет тащиться по тем же полям, где нашли пристанище ржанки, и выслушивать в конце своего пешего перехода те же мучительные предчувствия, которые он день за днем заставляет умолкнуть, но не избавляет от них, – пока наконец милосердное угасание не освободит страдалицу от тревог о будущем, и тогда Теобальд испытает удовлетворение, что отныне ее душа мирно почиет во Иисусе.

# Глава 16

Он не любит эту сторону своей профессии – и даже ненавидит ее, – но не признается себе в том. Привычка не признаваться себе в некоторых вещах прочно укоренилась в нем. Тем не менее его часто посещает смутное ощущение, что жизнь была бы приятнее, не будь на свете больных грешников или, во всяком случае, воспринимай они перспективу вечных мук с большим хладнокровием. Он не чувствует себя в своей стихии. Фермеры же производят впечатление существ, пребывающих в своей стихии. Они полнотелы, здоровы и довольны. И между ним и ими утверждена великая пропасть. Суровая складка залегает в уголках его рта, так что, не носи он даже черного облачения с белым воротничком, и ребенку под силу узнать в нем пастора.

Он знает, что исполняет свой долг. Каждый день все сильнее убеждает его в этом; но дел для исполнения этого долга у него не так уж много. Он томится от безделья. У него нет интереса ни к одному из тех развлечений, какие сорок лет назад не считались неподобающими священнику. Он не ездит верхом, не занимается стрельбой, не удит рыбу, не охотится, не играет в крикет. Ученые занятия, нужно отдать ему должное, он никогда не любил, да и что могло бы побудить его предаваться им в Бэттерсби? Он не читает ни старых, ни новых книг. Он не интересуется ни искусством, ни наукой, ни политикой, но с готовностью восстает против всего для него нового и непривычного, что происходит в какой-либо из этих областей. Правда, он сам пишет свои проповеди, но даже его жена считает, что его сильной стороной является скорее личный жизненный пример (который представляет собой один долгий акт самопожертвования), чем выступления с кафедры. После завтрака он удаляется в свой кабинет, где вырезает небольшие отрывки из Библии и с предельной аккуратностью подклеивает к другим небольшим отрывкам. Это он называет составлением «Гармонии Старого и Нового Заветов». Рядом с этими фрагментами он безупречнейшим почерком вписывает цитаты из Мида (единственного человека, по мнению Теобальда, действительно постигшего Книгу Откровения), Патрика и других старых богословов. В течение многих лет он неизменно занимается этим полчаса каждое утро, и результат, несомненно, ценен. По прошествии нескольких лет он начинает проверять уроки своих детей, и ежедневно повторяющиеся крики, которые доносятся из его кабинета во время этих занятий, открывают всему дому ужасную правду. Он также взялся составлять hortus siccus[12] и, благодаря влиянию своего отца, был однажды упомянут в журнале «Сэтэрдей мэгэзин» как первооткрыватель в окрестностях Бэттерсби некоего растения, название которого я позабыл. Этот номер «Сэтэрдей мэгэзин», переплетенный в красный сафьян, покоится на столе в гостиной. Теобальд копается в саду. Слыша кудахтанье курицы, бежит сообщить об этом Кристине и немедленно отправляется на поиски яйца.

Когда две барышни Элэби изредка приезжали навестить Кристину, то говорили, что жизнь, которую ведут их сестра и зять, – просто идиллия. Как же удачен был выбор Кристины – а вымысел, что она в самом деле сделала некий выбор, быстро прижился в их семье, – и как же счастлив Теобальд со своей Кристиной. Однако же Кристина всегда немного опасалась карт, когда ее сестры гостили у нее, хотя в другое время с удовольствием играла в криббидж или вист, но ее сестры знали, что их никогда больше не пригласят в Бэттерсби, если они упомянут о том давнем дельце, и изо всех сил старались показать себя достойными новых приглашений. Если характер у Теобальда и был довольно раздражительным, он не давал ему волю в отношении их.

Замкнутый по натуре, он предпочел бы жить на необитаемом острове, если б там нашелся кто-нибудь, кто готовил бы ему обед. В глубине души он был согласен с поэтом Поупом, ска-

[12] hortus siccus – гербарий (лат.)

завшим, что «величайшее несчастье для человечества – сам человек» или что-то в этом роде. Только вот женщины, за исключением Кристины, были, на взгляд Теобальда, худшим несчастьем. При всем при том, когда являлись гости, он принимал более довольный вид, чем мог ожидать всякий, кто находился за кулисами.

Умея ввернуть в разговоре имена каких-нибудь литературных знаменитостей, которых встречал в доме своего отца, он вскоре приобрел такую репутацию, которая удовлетворяла даже саму Кристину.

Кто, спрашивается, столь integer vitae scelerisque purus[13], как мистер Понтифекс из Бэттерсби? Кто может дать лучший совет, если в делах прихода возникает какая-либо проблема? Кто столь счастливо соединяет в себе черты искреннего, лишенного любострастия христианина и светского человека? Конечно же, мистер Понтифекс. Говорили, что он безупречен в деловых вопросах. Уж если он сказал, что заплатит некую сумму к определенному сроку, то деньги, без сомнения, поступят в назначенный день, а это многое говорит о всяком человеке. Врожденная робость делала его не способным на какие-либо попытки плутовства, если существовала хоть малейшая вероятность отпора или огласки, а учтивость и довольно суровый вид служили ему надежной защитой от чьих-то попыток плутовать с ним. Он никогда не говорил о деньгах и менял предмет разговора всякий раз, когда о них заходила речь. Выражение неописуемого ужаса на его лице при всяком упоминании о какой-либо подлости служило достаточной гарантией того, что сам он на подлость не способен. Кроме того, он не участвовал ни в каких деловых операциях, за исключением самых обыкновенных расчетов с мясником и пекарем. Его вкусы – если таковые имелись – были, как мы видели, просты. Он имел девятьсот фунтов в год и дом. Жизнь в тех местах обходилась дешево, к тому же в течение некоторого времени он не имел детей, а значит, и обузы. Кому и быть предметом зависти – а кому завидуют, того, значит, и уважают, – как не достойному зависти Теобальду?

Все же Кристина, думаю, была, в общем и целом, счастливее, чем ее муж. Ей не приходилось посещать больных прихожан, а домашним хозяйством и ведением счетов она могла позволить себе заниматься ровно столько, сколько сама хотела. Ее основной обязанностью, как она удачно выразилась, было любить своего мужа, почитать его и заботиться о его хорошем настроении. Нужно отдать ей должное, она не жалела сил на исполнение этой обязанности. Вероятно, было бы лучше, если бы она не так часто уверяла мужа, что он лучший и мудрейший из людей, ведь никто в его маленьком мирке и не помышлял опровергать это утверждение, и Теобальду не понадобилось много времени, чтобы утратить всяческие сомнения на сей счет. Что касается его характера, ставшего со временем весьма вспыльчивым, то Кристина старалась ублажить супруга при малейших признаках надвигающейся вспышки. Она быстро обнаружила, что это самый легкий выход из положения. Гром редко гремел над ее головой. Еще задолго до свадьбы она изучила маленькие слабости Теобальда и знала и как подбавить масла в огонь, пока огонь, казалось, нуждался в этом, и как затем благоразумно притушить его, наделав как можно меньше дыма.

В денежных делах она была воплощенная добросовестность. Теобальд ежеквартально выдавал ей определенную сумму на платья, мелкие расходы, небольшую благотворительность и подарки. По двум последним статьям она была щедра соразмерно своему доходу: одевалась с большой экономией и тратила все, что оставалось, на подарки или благотворительность. О, каким утешением была для Теобальда мысль, что на жену можно положиться в том отношении, что она никогда не израсходует из его денег ни пенса на что-либо недозволенное! Не говоря уж о ее полной покорности, об абсолютном совпадении ее взглядов с его взглядами по всем предметам, о постоянных уверениях, что он прав во всем, что бы ни взбрело ему в голову сказать или сделать, какой же надежной опорой была для него ее аккуратность в денежных вопро-

[13] integer vitae scelerisque purus – непорочен в жизни и от злодеянья чист. Гораций. Оды. I. 22. 1. Пер. З. Морозкиной

сах! С годами он полюбил жену настолько, насколько его натуре было доступно любить какое-либо живое существо, и хвалил себя за то, что продержался до конца и не расторг помолвку – достойный поступок, за который он теперь получал награду. Даже когда Кристина выходила за пределы своего ежеквартального бюджета на каких-нибудь тридцать шиллингов или пару фунтов, Теобальду всегда было совершенно ясно, каким образом возник перерасход: было куплено какое-нибудь особенно дорогое вечернее платье, которое должно послужить долго, или чья-то неожиданная свадьба потребовала более щедрого подарка, чем позволял квартальный баланс. Недостача всегда покрывалась в следующем квартале или кварталах, даже если составляла всего десять шиллингов.

Однако, кажется, лет двадцать спустя после заключения брака, Кристина несколько изменила своей первоначальной безупречности в отношении денег. Постепенно в течение нескольких кварталов у нее росла задолженность, пока не образовалась хроническая недостача, своего рода внутригосударственный долг, составлявший что-то между семью и восемью фунтами. Теобальд наконец решил, что необходимо заявить протест, и, воспользовавшись случаем, в день их серебряной свадьбы сообщил Кристине, что ее задолженность снята, одновременно попросив, чтобы она постаралась впредь уравнивать свои расходы с доходами. Она залилась слезами любви и благодарности, уверяя его, что он самый лучший и благороднейший из людей, и никогда в течение всей своей последующей замужней жизни не задолжала ни единого шиллинга.

Кристина ненавидела всяческие перемены с не меньшей силой, чем ее муж. Они с Теобальдом имели в этом мире почти все, чего могли пожелать, так зачем же люди хотят вводить всяческие перемены, результат которых невозможно предвидеть? Религия, по ее глубокому убеждению, давно достигла своей окончательной точки развития, да и не могла зародиться в душе разумного человека идея веры более совершенной, чем проповедуемая Англиканской церковью. Она не могла вообразить положения более почетного, чем положение жены священника, если не считать положения жены епископа. Принимая во внимание влияние отца Теобальда, нельзя было полностью исключить, что в один прекрасный день Теобальд может сделаться епископом, – и тогда… Но тут ей приходила на ум мысль об этаком маленьком изъяне в практике Англиканской церкви – изъяне не самой доктрины, но политики, которую в данном случае Кристина вообще-то считала ошибочной. Я имею в виду тот факт, что жена епископа не получает статуса своего мужа.

Это было делом рук Елизаветы, скверной женщины весьма сомнительной нравственности, да еще и тайной папистки. Возможно, люди должны быть выше соображений мирского почета, но мир так устроен, что с подобными вещами принято считаться, правильно это или неправильно. Влияние Кристины как простой миссис Понтифекс, жены, скажем, епископа Винчестерского, было бы, без сомнения, значительным. Она, с ее-то характером не могла не приобрести авторитета, окажись она в среде достаточно видных персон, с чьим влиянием принято считаться. Но разве можно сомневаться, что в качестве леди Винчестер, или епископессы, что звучало бы просто прекрасно, ее возможность творить добро стала бы неизмеримо шире? И звучание этого титула было бы еще прекраснее оттого, что будь у нее дочь, та не смогла бы называться епископессой, пока тоже не вышла бы замуж за епископа, что маловероятно.

Такие мысли посещали Кристину, когда она пребывала в хорошем настроении. Но, нужно отдать ей должное, она порой сомневалась, является ли во всех отношениях столь духовно возвышенной, сколь следует быть. Ей надо стремиться духом все выше и выше, пока все враги, мешающие ее спасению, не будут побеждены, и сам сатана не падет поверженный под стопу ее. Однажды в ходе таких размышлений ей пришло в голову, что она могла бы опередить некоторых своих современников, если бы прекратила есть кровяную колбасу, которой всякий раз, как закалывали свинью, до настоящего времени отведывала вволю, а также если бы проследила

за тем, чтобы к столу не подавали никакой домашней птицы, которой скручивают шею, а подавали лишь такую, которой перерезают горло и дают стечь крови. Святой Павел и Иерусалимская церковь настоятельно требовали, чтобы даже новообращенные язычники воздерживались от употребления в пищу удушенных тварей и крови, и причисляли этот запрет к запрету такого греха, в гнусности которого не может быть никаких сомнений; поэтому хорошо бы впредь воздержаться и посмотреть, последует ли какой-нибудь примечательный духовный результат. И она-таки воздерживалась, пребывая вуверенности, что со дня своего решения почувствовала себя сильнее, чище сердцем и во всех отношениях возвышеннее духом, чем когда-либо прежде. Теобальд, в отличие от нее, не придавал этому так много значения, но, поскольку жена решала, что ему есть на обед, она смогла позаботиться о том, чтобы он не ел удушенных домашних птиц. Что же касается кровяной колбасы, то он, к счастью, видел в детстве, как ее готовят, и так и не смог преодолеть отвращения к ней. Кристине бы хотелось, чтобы данный запрет соблюдался более широко, чем принято, и как раз в этом направлении она в качестве леди Винчестер могла бы сделать то, что в качестве простой миссис Понтифекс безнадежно было и затевать.

Так эта достойная пара плелась по жизни месяц за месяцем, год за годом. Читатель, уже миновавший первую половину жизни и имеющий знакомых в среде духовенства, вероятно, может припомнить великое множество пасторов и пасторских жен, ничем существенно не отличающихся от Теобальда и Кристины. Исходя из воспоминаний и опыта, охватывающего почти восемьдесят лет с той поры, когда я сам был ребенком в доме приходского священника, должен сказать, что я изобразил скорее лучшую, чем худшую сторону жизни английского деревенского пастора, какой она была приблизительно пятьдесят лет назад. Однако допускаю, что таких людей уж не встретишь в наши дни. Более сплоченной и, в общем-то, более счастливой пары невозможно было сыскать во всей Англии. Лишь одна печаль омрачала первые годы их семейной жизни: я имею в виду тот факт, что у них не рождались дети.

# Глава 17

С течением времени и эта печаль миновала. На пятом году брака Кристина благополучно разрешилась от бремени мальчиком. Это произошло шестого сентября 1835 года.

Новость немедленно сообщили старому мистеру Понтифексу, который воспринял ее с истинным удовлетворением. Жена его сына Джона рожала только дочерей, и мистер Понтифекс был серьезно обеспокоен тем, как бы не остаться без потомков по мужской линии. Следовательно, хорошая весть была вдвойне желанной и вызвала столько же радости в Элмхерсте, сколько тревоги на Уоборн-сквер, где обитало тогда семейство Джона Понтифекса.

Там эту прихоть фортуны восприняли как особенно жестокую из-за невозможности открыто негодовать на нее. Но обрадованного деда нисколько не заботили чувства семейства Джона Понтифекса: он хотел внука, и он получил внука, этого для всех должно быть достаточно. Теперь, когда миссис Теобальд Понтифекс сделала хороший почин, она может родить ему еще внуков, что было бы желательно, поскольку он не мог чувствовать себя в безопасности, пока их будет меньше трех.

Старик позвонил в колокольчик, вызывая старшего слугу.

«Гэлстрэп, – сказал он торжественно, – я хочу спуститься в погреб».

И вот Гэлстрэп пошел впереди хозяина со свечой, и тот вступил в подвал, где хранил отборные вина.

Он прошел мимо многочисленных клетей с бутылками. Там были портвейн 1803 года, императорское токайское 1792 года, бордо 1800 года, херес 1812 года. Все эти вина, как и многие другие, остались позади: ведь вовсе не для них глава семейства Понтифекс спустился в свой винный погреб. В клети, которая казалась пустой, пока свет поднесенной к ней свечи полностью не осветил ее, находилась одна-единственная бутылка емкостью в пинту. Это и был предмет поисков мистера Понтифекса.

Гэлстрэп частенько ломал голову над тайной этой бутылки. Мистер Понтифекс самолично поставил ее туда примерно двенадцать лет назад, возвратившись как-то от своего друга, знаменитого путешественника доктора Джонса, но на клети не было никакой таблички, которая могла бы дать ключ к разгадке ее содержимого. Не раз, когда хозяин уходил из дому, случайно позабыв ключи, что порой с ним приключалось, Гэлстрэп подвергал бутылку всяческим исследованиям, на которые только мог отважиться, но она была столь тщательно запечатана, что доступ к знанию оставался совершенно закрыт с того входа, у которого Гэлстрэп был бы более всего рад с ним встретиться, и фактически со всех других входов, ибо он вообще ничего не мог выяснить.

И вот теперь тайна должна была раскрыться. Но, увы, казалось, будто последний шанс получить хотя бы глоток содержимого должен исчезнуть навсегда, поскольку мистер Понтифекс взял бутылку и после тщательного досмотра печати поднес ее к свету. Он улыбнулся и отошел от клети с бутылкой в руках.

И тут произошла катастрофа. Он споткнулся о пустую корзину. Послышался звук падения, звон разбитого стекла, и в одно мгновение пол погреба оказался залит жидкостью, которая столь бережно хранилась так много лет.

Со свойственным ему присутствием духа мистер Понтифекс произнес, задыхаясь от гнева, что уволит Гэлстрэпа. Затем он встал и топнул ногой, как это сделал Теобальд, когда Кристина не хотела заказывать ему обед.

– Это вода из ИОРДАНА! – воскликнул он в ярости. – Вода, которую я берег для крещения моего старшего внука! Черт тебя побери, Гэлстрэп, как смел ты проявить столь дьявольскую небрежность, что оставил эту корзину валяться в погребе?

Удивительно, как вода из священного потока не поднялась с пола погреба и не укорила его. Гэлстрэп впоследствии говорил другим слугам, что от ругательств хозяина у него кровь стыла в жилах.

Но в тот же момент, едва услышав слово «вода», он пришел в себя и помчался в кладовую. Прежде чем хозяин успел заметить его отсутствие, он возвратился с маленькой губкой и тазом и начал собирать воды Иордана, как если бы это были обычные помои.

– Я профильтрую ее, сэр, – сказал Гэлстрэп кротко, – она станет совсем чистой.

Мистер Понтифекс усмотрел надежду в этом предложении, которое было вскоре исполнено в его присутствии с помощью куска фильтровальной бумаги и воронки. В конечном счете оказалось, что полпинты спасены, и это было сочтено достаточным.

Затем он занялся приготовлениями к визиту в Бэттерсби. Он распорядился подготовить большие корзины со съестными припасами самого лучшего качества, а одну из больших корзин наполнил отборными винами. Я говорю «отборными», а не «отборнейшими», так как, хотя в приступе первоначального восторга мистер Понтифекс отобрал лучшие из своих вин, все же по зрелом размышлении он пришел к выводу, что во всем хороша мера, и поскольку он расстается со своей превосходной водой из Иордана, то отправлять первосортные вина не обязательно.

Перед поездкой в Бэттерсби он провел пару дней в Лондоне, что случалось теперь редко, ведь ему уже перевалило за семьдесят, и он практически отошел от дел. Джон Понтифекс с супругой, зорко следившие за ним, узнали, к своему огорчению, что он имел встречу со своими поверенными.

# Глава 18

Впервые в жизни Теобальд чувствовал, что сделал что-то правильное и может без тревоги ожидать встречи с отцом. Старый джентльмен действительно написал ему чрезвычайно сердечное письмо, объявляя о своем намерении стать крестным отцом мальчика. Впрочем, стоит привести письмо целиком, ибо оно показывает автора во всей красе. Содержание его таково:

> Дорогой Теобальд!
>
> Твое письмо доставило мне истинное наслаждение, тем более что я уже приготовился к самому худшему. От всей души поздравляю невестку и тебя.
>
> Я долгое время хранил сосуд с водой из Иордана для крещения моего первого внука, буде Господу угодно даровать мне его. Воду дал мне мой старый друг доктор Джонс. Ты согласишься со мной, что, хотя действенность этого таинства не зависит от источника крестильных вод, все же, ceteris paribus[14], к водам Иордана существует некое особое отношение, которым не следует пренебрегать. Маленькие детали, подобные этой, иногда влияют на ход всей будущей жизни ребенка.
>
> Я привезу с собой своего повара, и уже велел ему приготовить все к обеду по случаю крестин. Пригласи своих лучших соседей – столько, сколько поместится у тебя за столом. Между прочим, я велел Лесюэру не покупать омара – лучше тебе самому поехать и купить его в Солтнессе (Бэттерсби всего в четырнадцати – пятнадцати милях от морского побережья): омары там лучше, чем где-либо в Англии, по крайней мере, я так думаю.
>
> Я выделил кое-что вашему мальчику, что он получит по достижении двадцати одного года. Если твой брат Джон будет продолжать производить на свет только девочек, то, возможно, позднее я сделаю больше, но на меня рассчитывают многие, а дела мои не так хороши, как ты, может быть, воображаешь.
>
> *Твой любящий отец*
> *Дж. Понтифекс.*

Несколько дней спустя автор приведенного письма явился в Бэттерсби в пролетке, доставившей его из Гилденхэма, отстоявшего от Бэттерсби на расстояние четырнадцати миль. Повар Лесюэр занимал место на козлах рядом с кучером, а множество корзин, какое только могла выдержать пролетка, были помещены на крышу и везде, где только можно. На следующий день должны были прибыть Джон Понтифекс с супругой, Элиза и Мария, а также Алетея, которой по ее собственной просьбе предстояло стать крестной матерью мальчика. Раз мистер Понтифекс решил, что следует устроить счастливый семейный праздник, то все должны приехать и излучать счастье, иначе им же будет хуже. На другой день виновника всей этой суматохи действительно окрестили. Теобальд предложил назвать его Джорджем в честь мистера Понтифекса-старшего, но, как ни странно, мистер Понтифекс отклонил это предложение в пользу имени Эрнест. Оно только начинало входить в моду, и он считал, что обладание таким именем, как и крещение в воде из Иордана, может оказывать постоянное воздействие на характер мальчика и благотворно влиять на него в решающие периоды жизни.

Меня попросили быть его вторым крестным, и я обрадовался возможности встретиться с Алетеей, с которой не виделся несколько лет, но поддерживал постоянную переписку. Мы с ней были друзьями еще с той поры, когда вместе играли детьми. Когда со смертью дедушки

[14] ceteris paribus – при прочих равных условиях (лат.)

и бабушки порвалась ее связь с Пэйлхэмом, моя близость с семьей Понтифекс поддерживалась благодаря тому, что я учился в школе и колледже с Теобальдом. Всякий раз, встречая Алетею, я восхищался ею все больше и больше как самой доброй, самой ласковой, самой остроумной, самой милой и, на мой взгляд, самой красивой женщиной, которую мне когда-либо доводилось видеть. Никто из Понтифексов не был обделен хорошей внешностью, все в этой семье были рослыми и статными, но Алетея даже по части внешности была украшением семьи, а что касается всех прочих качеств, делающих женщину привлекательной, то создавалось впечатление, будто запас, предназначавшийся трем дочерям и вполне достаточный для троих, целиком достался ей одной: сестры не получили ничего, а она – все.

Не стану объяснять, как получилось, что мы с ней так и не поженились. Мы оба хорошо знали причину, и этого читателю должно быть достаточно. Между нами существовала глубокая симпатия и взаимопонимание; мы знали, что ни один из нас не вступит в брак с кем-либо другим. Я тысячу раз просил ее выйти за меня замуж. Сказав так много, я не намерен более распространяться на эту тему, которая вовсе не является необходимой для развития повествования. В последние несколько лет существовали сложности, служившие помехой для наших встреч, и я не виделся с Алетеей, хотя, как уже говорил, постоянно поддерживал с ней переписку. Естественно, я был несказанно счастлив встретиться с ней снова. К тому времени ей уже исполнилось тридцать лет, но я находил ее красивее, чем когда-либо.

Ее отец, разумеется, царил на этом торжестве, как царит лев в мире зверей. Но, видя, что все мы кротки и вполне готовы быть съеденными, он скорее демонстрировал нам свое рычание, чем рычал на нас. Это было впечатляющее зрелище – видеть, как он засовывает салфетку под свой розовый старческий второй подбородок и расправляет ее на широкой груди поверх жилета, а яркий свет люстры, подобно звезде Вифлеема, играет на шишке благоволения на лысой голове старика.

Подали суп из настоящей черепахи. Старый джентльмен был, несомненно, очень доволен и начал являть себя публике. Гэлстрэп стоял позади стула своего хозяина. Я сидел по левую руку от миссис Теобальд Понтифекс и, следовательно, прямо напротив ее свекра, имея полную возможность наблюдать его.

Если бы задолго до того у меня не сложилось на его счет совершенно определенного мнения, то в первые десять минут, пока не было покончено с супом и не подали рыбу, мне бы, вероятно, могло показаться, что это милейший старик, и дети должны им гордиться. Но когда он приступил к омару под соусом, то неожиданно побагровел, на его лице появилось выражение крайней досады, и он метнул два быстрых, но испепеляющих взгляда в оба конца стола: один – на Теобальда, другой – на Кристину. Они, бедные простаки, разумеется, поняли, что допущена какая-то ужасная оплошность. То же понял и я, но не мог догадаться, в чем дело, пока не услышал, как старик шипит на ухо Кристине:

– Это блюдо приготовлено не из самки омара. Что толку, что я назвал мальчика Эрнестом и устроил крещение его в воде из Иордана, если его собственный отец не в состоянии отличить самца омара от самки?

Это огорчило и меня, ибо я понял, что до того момента не только не подозревал, что среди омаров существуют самцы и самки, но и мнил, будто в деле супружества они как ангелы на небесах, и зарождаются едва ли не самопроизвольно из камней и морских водорослей.

Прежде чем было покончено со следующим блюдом, к мистеру Понтифексу вернулось благодушие, и с того момента он до конца вечера пребывал в наилучшем расположении духа. Он рассказал нам историю воды из Иордана: как она в глиняном кувшине была привезена доктором Джонсом вместе с кувшинами воды из Рейна, Роны, Эльбы и Дуная, и какие неприятности имел тот из-за них на таможнях, и как возникло намерение на пирушке приготовить пунш с водой из всех самых больших рек Европы, и как он, мистер Понтифекс, уберег воду Иордана и не дал ей попасть в чашу с пуншем, и т. д., и т. п.

– Нет, нет, нет, – продолжал он, – этого, знаете ли, вовсе бы не сделали: весьма нечестивая затея. Ну и каждый из нас взял по пинте этой воды домой, а пунш без нее получился гораздо лучше. Однако на днях я лишь по счастливой случайности не лишился моей бутылки: доставая ее, чтобы привезти в Бэттерсби, я споткнулся о корзину в погребе, и если бы не проявил величайшей осторожности, бутылка непременно разбилась бы, но я спас ее.

И все это время Гэлстрэп стоял позади его стула!

Более не произошло ничего, что привело бы мистера Понтифекса в раздражение, так что мы провели восхитительный вечер, который часто вспоминался мне, следившему за событиями жизни моего крестника.

Я заехал через день-другой и застал старого мистера Понтифекса все еще в Бэттерсби: он занемог из-за приступов боли в печени и уныния, которым все более становился подвержен. Я остался на завтрак. Старый джентльмен был сердит и очень требователен. Он не мог ничего есть – совершенно утратил аппетит. Кристина пыталась задобрить его сочной бараньей отбивной.

– Как, в конце концов, можно просить меня съесть баранью отбивную?! – гневно воскликнул он. – Вы забываете, моя дорогая Кристина, что имеете дело с желудком, который совершенно расстроен. – И старик оттолкнул от себя тарелку, дуясь и хмурясь, как капризное дитя.

Теперь, в свете обретенного опыта, мне кажется, что я должен был видеть в этом не что иное, как нарастающую усталость от жизни, нарушение равновесия, неизбежно сопровождающее переход человеческих существ из одного состояния в другое. Думаю, ни один листок не желтеет осенью без того, чтобы утрачивать постепенно силы на поддержание своей жизнеспособности и докучать родимому дереву долгим брюзжанием и ворчанием. Но наверняка природа могла бы найти некий менее раздражающий способ ведения дел, если бы приложила к тому старания. Почему поколения вообще должны частично совпадать по времени друг с другом? Почему бы нам не быть упрятанными, как яйца, в аккуратные скорлупки, будучи завернутыми в банкноты Английского банка на сумму десять – двадцать тысяч фунтов на каждого, и не оживать, как оса, которая обнаруживает, что ее батюшка и матушка не только оставили ей обильный запас провизии, но и были съедены воробьями за несколько недель до того, как она начинает жить своей собственной сознательной жизнью?

Приблизительно года через полтора удача изменила Бэттерсби, ибо миссис Джон Понтифекс благополучно разрешилась от бремени мальчиком. А примерно годом позднее самого Джорджа Понтифекса внезапно сразил паралич, почти так же, как это случилось с его матерью, но он не дожил до ее лет. Когда вскрыли его завещание, обнаружилось, что первоначально назначенное Теобальду наследство, составлявшее двадцать тысяч фунтов (сверх суммы, выделенной ему и Кристине по случаю свадьбы), сократилось до семнадцати с половиной тысяч фунтов после того, как мистер Понтифекс оставил «кое-что» Эрнесту. «Кое-что» оказалось суммой в две с половиной тысячи фунтов, которой предстояло накапливаться под надзором попечителей. Остальная часть собственности отходила Джону Понтифексу, за исключением того, что каждой из дочерей было оставлено по пятнадцати тысяч фунтов, помимо сумм в пять тысяч фунтов, которые они унаследовали от матери.

Следовательно, отец Теобальда сказал ему правду, но не всю. Тем не менее, какое право имел Теобальд жаловаться? Конечно, было довольно жестоко заставить его думать, что он и его семья выйдут победителями и обретут честь и славу наследства, когда на деле деньги все время вынимались из кармана самого Теобальда. С другой стороны, отец, несомненно, возразил бы, что никогда не говорил Теобальду, что тот вообще должен получить что-нибудь: он имел полное право делать со своими деньгами все что угодно; не его вина, что Теобальд решил предаваться безосновательным надеждам. Как бы то ни было, он, отец, щедро его наделил, а если и изъял при этом две с половиной тысячи фунтов из доли Теобальда, то все же оставил их сыну самого Теобальда, так что, в конечном счете, общая сумма осталась той же.

Невозможно отрицать, что завещатель со своей стороны был совершенно в своем праве! Однако читатель согласится со мной, что Теобальд и Кристина, вероятно, не сочли бы обед по случаю крещения столь великим успехом, если бы им тогда были известны все факты, открывшиеся позднее. Мистер Понтифекс при жизни поставил в элмхерстской церкви памятник своей жене (плиту с урнами и херувимами, похожими на незаконнорожденных детей короля Георга IV, и всем прочим), а под эпитафией супруге оставил место для собственной эпитафии. Не знаю, сочинил ли ее кто-то из его детей или они доверили написать ее кому-нибудь из друзей. Не думаю, чтобы замышлялась какая-либо сатира. Полагаю, целью эпитафии было сообщить, что ничто, вплоть до Судного дня, не сможет дать кому-либо полного представления о том, каким добродетельным человеком был мистер Понтифекс, но при первом прочтении мне трудно было поверить, что в ней не скрыт подвох.

Эпитафия начинается датами рождения и смерти. Затем говорится, что покойный много лет был главой фирмы «Фэйрли и Понтифекс», а также прихожанином церкви в Элмхерсте. В этих строках нет ни слова ни хвалы, ни хулы. А последние строки звучат так:

«НЫНЕ ОН ПОЧИЕТ В ЧАЯНИИ
РАДОСТНОГО ВОСКРЕШЕНИЯ
В ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ.
КАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ ОН БЫЛ,
ТОТ ДЕНЬ ПОКАЖЕТ»

# Глава 19

Мы же между тем можем, по крайней мере, сказать, что, дожив почти до семидесяти трех лет и умерев богатым, он пребывал, должно быть, в полной гармонии со своей средой. Я слышал, как порой говорят, что, мол, жизнь такого-то человека – сплошная ложь. Но ничья жизнь не может быть очень уж большой ложью: пока жизнь вообще длится, она в худшем случае на девять десятых правда.

Жизнь мистера Понтифекса не только длилась долго, но и была благополучной до самого конца. Разве этого недостаточно? Пока мы пребываем в этом мире, разве наше само собой разумеющееся занятие состоит не в том, чтобы жить в полную силу: замечать bona fide[15], что ведет к долгой и благополучной жизни, и действовать соответственно? Все животные, кроме человека, знают, что главное в жизни – наслаждаться ею. Они и наслаждаются ею в той мере, в какой им позволяют это человек и другие обстоятельства. Лучше всего прожил жизнь тот, кто более всего ею наслаждался: Бог позаботится о том, чтобы мы не наслаждались больше, чем это нам полезно. Если мистера Понтифекса и следует в чем-то обвинить, так это в том, что он не ел и не пил меньше, а, следовательно, не страдал меньше от своей печени и не прожил, пожалуй, на год-два дольше.

Добродетель бесполезна, если она не ведет к долголетию и достатку. Я говорю в широком смысле и exceptis excipiendis[16]. Так, псалмопевец утверждает: праведники «не терпят нужды ни в каком благе». Либо это просто поэтическая вольность, либо из этого следует, что тот, кто испытывает недостаток в каком-либо благе, не праведник. Есть также основания полагать, что тот, кто прожил долгую жизнь, не испытывая недостатка в каком-либо благе, и сам был достаточно хорош с практической точки зрения.

Мистер Понтифекс не испытывал недостатка ни в чем, чего более всего хотел. Правда, он, возможно, был бы счастливее, если бы хотел того, чего не хотел, но дело здесь именно в этом «если бы». Все мы грешны в том, что упускали случай достичь такого благополучия, какого легко могли бы достичь, но мистера Понтифекса это не особенно заботило, и он не много бы приобрел, получив то, в чем не имел потребности.

Худший способ метать перед людьми корм для свиней это приукрашивать добродетель, словно ее истинное происхождение недостаточно хорошо для нее и ее надо наделить родословной, выведенной, так сказать, духовными герольдмейстерами из такого истока, к какому она не имеет никакого отношения. Истинное происхождение добродетели древнее и благороднее любого выдуманного. Она происходит из опыта собственного благополучия человека, а подобный опыт – пусть и не самое достоверное, но всё же наиболее достоверное из всего, чем мы располагаем. Система, которая не может устоять на столь надежном фундаменте, как этот, таит в себе такую внутреннюю неустойчивость, что свалится с любого пьедестала, на какой бы мы ее ни поместили.

Давно решено, что нравственность и добродетель – это то, что в конце концов приносит человеку покой. «Будь добродетелен, – гласит прописная истина, – и будешь счастлив». Разумеется, если то, что принимают за добродетель, часто оказывается несостоятельным в данном отношении, то это лишь коварная форма порока, а если то, что считается пороком, приносит человеку на склоне жизни не очень серьезный вред, то это не такой уж тяжкий порок, каким его считают. К сожалению, хотя все мы согласны с общим мнением, что добродетель – это то, что ведет к счастью, а порок – то, что приводит к горю, мы не столь единодушны насчет дета-

[15] bona fide – благоразумно (лат.)

[16] *exceptis excipiendis* — исключая то, что подлежит исключению (лат.)

лей, то есть насчет того, ведет ли какой-то определенный образ действий, скажем, курение, к счастью или к его противоположности.

На основе моих собственных скромных наблюдений я утверждаю, что проявление родителями чрезмерной суровости и эгоизма по отношению к детям не влечет за собой, как правило, вредных последствий для самих родителей. Они, бывает, многие годы омрачают жизнь своих детей, не подвергаясь при этом каким-либо страданиям, причиняющим боль им самим. Должен, следовательно, сказать, что это не выглядит большим нарушением морали со стороны родителей, если они до известных пределов превращают жизнь своих детей в тяжкое бремя.

Принимая во внимание, что мистер Понтифекс не был очень возвышенной натурой, от обычных людей не требуется обладать очень уж возвышенной натурой. Достаточно, если у нас тот же моральный и душевный строй, что и у «большинства» или у «средних», то есть самых рядовых людей.

Непосредственное отношение к делу имеет то, что богачи, доживающие до старости, всегда оказываются средними людьми. Величайшие и мудрейшие из людей почти всегда на поверку окажутся самыми средними – теми, кто лучше всех держался «середины» между избытком как добродетели, так и порока. Вряд ли они когда-нибудь были бы благополучны, если бы не поступали так, а учитывая, сколь многие, в общем, терпят неудачу, не такое уж малое достижение для человека оказаться не хуже своих ближних. Гомер повествует нам о том, кто сделал своей целью всегда превосходить других людей и возвышаться над ними. Каким необщительным, неприятным человеком он наверняка был! Герои Гомера, как правило, заканчивали плохо, и не сомневаюсь, что и этого джентльмена, кто бы он ни был, рано или поздно ждало то же самое.

Принадлежность к существам высшего порядка предполагает обладание редкостными добродетелями, а редкостные добродетели подобны редким растениям или животным, то есть таким, которые оказались не в состоянии выжить в этом мире. Добродетель, чтобы оказаться стойкой, должна, подобно золоту, быть сплавлена с каким-нибудь менее благородным, но более долговечным металлом.

Люди разделяют порок и добродетель, словно это две вещи, не имеющие между собой ничего общего. Это не так. Нет ни одной полезной добродетели, в которой не содержится некоторой примеси порока, и едва ли существует порок, не несущий в себе хоть чуточку добродетели: добродетель и порок, подобно жизни и смерти или духу и материи это те понятия, которые нельзя определить иначе, как противопоставляя их друг другу. Самая полная жизнь таит в себе смерть, а мертвое тело еще во многих отношениях продолжает жить. Да ведь и сказано же: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие», из чего следует, что даже самый высокий идеал, какой мы в силах вообразить, все же способен допустить такой компромисс с пороком, что злоупотребления, если они не чрезмерны, получают авторитетное покровительство. Всем известно, что порок платит дань добродетели. Мы называем это лицемерием. Следовало бы найти слово и для дани, которую добродетель не так уж редко платит – или, во всяком случае, которую ей благоразумно было бы платить – пороку.

Допускаю, что некоторые люди склонны видеть счастье в обладании тем, что все мы считаем высочайшей нравственностью. Но если они выбирают этот путь, то должны довольствоваться тем, что награда за добродетель – в самой добродетели, и не роптать, если обнаружат, что высокое донкихотство – это дорогое удовольствие, награда за которое принадлежит царству не от мира сего. Они не должны удивляться, если их попытки устроить все наилучшим образом для обоих миров, окажутся неудачными. Мы можем сколь угодно не верить подробностям рассказов, сообщающих о возникновении христианской религии, и все же большая часть христианского учения останется такой же истинной, как если бы мы уверовали в эти подробности. Мы не можем служить Богу и мамоне: узок путь и тесны врата, ведущие к обладанию тем, что живущие верой признают наивысшей ценностью, и об этом не скажешь лучше, чем

сказано в Библии. Это в порядке вещей, что некоторые люди будут думать именно так, как в порядке вещей и то, что в коммерции будут спекулянты, которые часто обжигаются, но нет такого порядка вещей, при котором большинство оставило бы «середину» и проторенный путь.

Для большинства людей и в большинстве случаев наслаждение – ощутимое материальное благополучие в этом мире – является самым надежным критерием добродетели. Прогресс всегда достигался скорее благодаря наслаждениям, чем высочайшим добродетелям, а самые добродетельные склонялись более к излишествам, чем к аскетизму. Говоря языком делового мира, конкуренция столь остра, а размеры прибыли ограничены такими узкими рамками, что добродетель не может позволить себе упустить bona fide хоть один шанс и должна основываться в своих действиях скорее на получении наличности с каждого поступка, чем на неких заманчивых проектах. Следовательно, она не станет пренебрегать – как некоторые люди, достаточно благоразумные и проницательные в других делах – важным фактором имеющейся у нас возможности избежать разоблачения или, во всяком случае, сначала умереть. Разумная добродетель оценит эту возможность по достоинству, не выше и не ниже.

В конце концов, наслаждение – более надежный ориентир, чем правда или долг. Ибо как ни трудно понять, что доставляет нам наслаждение, часто еще труднее распознать, в чем состоят правда и долг, а если мы допустим насчет них ошибку, то это приведет нас к такому же плачевному состоянию, как и ошибочное мнение насчет наслаждения. Когда люди обжигаются, идя путем наслаждения, им легче выяснить, в чем они ошиблись, и понять, где сбились с пути, чем когда они обожглись, следуя воображаемому долгу или воображаемому представлению об истинной добродетели. Дьявола же, выступающего в обличье ангела, могут разоблачить только исключительно опытные знатоки, а он столь часто принимает это обличье, что вступать в беседы с ангелами едва ли вообще безопасно, и благоразумные люди предпочитают придерживаться наслаждения как более простого, но и более приемлемого и в целом намного более надежного ориентира.

Возвращаясь к мистеру Понтифексу, скажем, что он не только прожил долгую и благополучную жизнь, но и оставил многочисленных потомков, каждому из которых передал как свои физические и душевные качества в тех или иных не превышающих нормы вариациях, так и немалую долю того, что не так легко передается по наследству, – я имею в виду его денежные средства. Можно сказать, что он обзавелся ими, спокойно сидя и позволяя деньгам плыть, так сказать, прямо ему в руки. Но разве деньги не плывут ко многим, кто неспособны их удержать, или кто, пусть даже и удержав их на короткое время, не умеют так слиться с ними воедино, чтобы деньги перешли через них к их потомству? А мистеру Понтифексу это удалось. Он сохранил то, что, можно сказать, заработал, а деньги, подобно славе, легче заработать, чем сохранить.

Итак, как человека во всем значенье слова, я не склонен оценивать его так строго, как мой отец. Судите его по самому высокому счету, и он окажется никуда не годен. Судите его по справедливым средним критериям, и за ним найдется не так уж много вины. Я сказал в предшествующей главе то, что сказал, и не собираюсь прерывать нить своего повествования, чтобы повторять это. Повествование должно продолжаться без объявления вердикта, который читатель, может быть, склонен вынести слишком поспешно не только в отношении мистера Джорджа Понтифекса, но также в отношении Теобальда и Кристины. А теперь я продолжу мою историю.

# Глава 20

Рождение сына открыло Теобальду глаза на многое, о чем до того он имел лишь смутное представление. Прежде у него даже мысли не было о том, как несносны младенцы. Дети являются в мир, в общем-то, неожиданно, а явившись, учиняют ужасный беспорядок: почему бы им не прокрасться к нам без такой встряски семейного уклада? Вдобавок его жена нескоро оправилась после родов; в течение нескольких месяцев она оставалась слабой, и это было еще одной неприятностью, к тому же дорогостоящей, наносившей урон той сумме, которую Теобальду нравилось откладывать из своего дохода, как он выражался, на черный день или на содержание детей, появись они у него. Теперь у него появился ребенок, так что откладывать деньги стало тем нужнее, а младенец-то как раз и мешал этому. Пусть теоретики сколько угодно рассуждают о том, что дети – продолжение своих родителей, но, как правило, на поверку окажется, что у тех, кто такое говорит, собственных детей нет. Семейные люди лучше знают, как обстоит дело.

Месяцев через двенадцать после рождения Эрнеста на свет появился второй ребенок, тоже мальчик, которого нарекли Джозефом, а еще менее года спустя – девочка, которой дали имя Шарлотта. За несколько месяцев до рождения девочки Кристина гостила в семействе Джона Понтифекса в Лондоне и, учитывая свое положение, проводила много времени на выставке в Королевской академии, взирая на типы женской красоты, изображенной академиками, поскольку решила, что на сей раз должна родиться девочка. Алетея убеждала ее не делать этого, но она упорствовала, и ребенок, конечно же, родился неказистым, однако, были картины тому причиной или нет, судить не берусь.

Теобальд никогда не любил детей. Он всегда избегал их, как только мог, и они тоже избегали его. О, почему бы, – склонен он был задаваться вопросом, – детям не рождаться на свет уже взрослыми? Если бы Кристина могла родить нескольких совершеннолетних духовных особ в сане священника – с умеренными взглядами, но склоняющихся скорее к евангелической доктрине, с выгодными приходами и во всех отношениях являющими собой копию самого Теобальда: ведь в этом же, ей-богу, было бы больше смысла! Или если бы люди могли покупать уже готовых детей в лавке, любого возраста и пола, по своему усмотрению, а не вынуждены были производить их на дому, каждый раз начиная все с самого начала, – это было бы лучше; но нынешнее положение вещей Теобальду не нравилось. Он чувствовал то же, что и тогда, когда от него потребовалось взять да и жениться на Кристине: он долгое время жил вполне сносно и намного охотнее оставил бы все по-прежнему. В деле женитьбы он вынужден был притворяться, что хочет этого; но времена изменились, и теперь, если ему что-то не нравилось, он мог найти сотню безупречных способов выразить свое неудовольствие.

Вероятно, было бы лучше, если бы в более молодые годы Теобальд больше восставал против своего отца. То обстоятельство, что он не делал этого, побуждало его ожидать беспрекословного повиновения от собственных детей. Он мог надеяться, говорил он (и то же говорила Кристина), что будет более терпим, чем, пожалуй, был к нему его отец. Опасность для него, продолжал Теобальд (и Кристина вновь вторила ему), состоит скорее в том, чтобы не оказаться излишне снисходительным; он должен остерегаться этого, ибо нет обязанности более важной, чем обязанность научить ребенка во всем слушаться своих родителей.

Незадолго до того он читал об одном путешественнике по Востоку, который, исследуя отдаленные районы Аравии и Малой Азии, наткнулся на необыкновенно выносливую, воздержанную, трудолюбивую маленькую христианскую общину, все члены которой пребывали в полном здравии и оказались настоящими живыми потомками Ионадава, сына Рехава. А в скором времени два человека, правда, в европейской одежде, но говоривших на английском с сильным акцентом и по цвету кожи явные выходцы с востока, явились, прося подаяния, в Бэттерсби

и назвались членами этой общины. По их словам, они собирали средства для содействия переходу их соплеменников в англиканскую ветвь христианства. Да, они оказались самозванцами, так как, когда он дал им фунт, а Кристина – пять шиллингов из собственного кошелька, они пошли и пропили эти деньги в ближайшей к Бэттерсби деревне. Тем не менее, это не лишало правдивости историю путешественника по Востоку. А ведь были еще и древние римляне, чье величие, вероятно, проистекало из неограниченной власти главы семейства над всеми ее членами. Некоторые римляне даже убивали своих детей. Это было уж слишком, но ведь тогда римляне не были христианами и не придумали ничего лучше.

Практическим результатом вышесказанного была внутренняя убежденность Теобальда, а, следовательно, и Кристины, что их обязанность – направлять детей на путь истинный уже с самого раннего детства. Нужно зорко подмечать первые признаки своеволия и тотчас с корнем их вырывать, чтобы они не успели пуститься в рост. Теобальд подхватил окоченевшую змею этой метафоры и отогрел ее на своей груди.

Эрнест еще не умел как следует ползать, а его уже учили коленопреклонению. Он еще не умел как следует говорить, а его уже учили лепетать «Отче наш» и Символ Веры. Как можно было научиться таким вещам в столь раннем возрасте? Если его внимание рассеивалось или память изменяла ему, это воспринималось как наличие сорняка, который будет разрастаться, если не вырвать его немедленно, а единственный способ вырвать его состоял в том, чтобы высечь ребенка, или запереть в чулан, или лишить каких-нибудь маленьких детских радостей. До того как Эрнесту исполнилось три года, он умел читать и с грехом пополам писать, а прежде чем ему исполнилось четыре, начал изучать латынь и умел пользоваться тройным правилом.

Что касается самого ребенка, то у него от природы был спокойный нрав. Он до самозабвения любил свою няню, котят, щенков, да и всех, кто соблаговолил позволить ему любить себя. Он любил и свою мать, но из чувств к отцу, как он говорил мне позднее, он не может вспомнить ни одного, кроме чувства страха и трепета. Кристина не возражала ни по поводу трудности заданий, которые Теобальд заставлял выполнять сына, ни даже по поводу постоянной порки, считавшейся необходимой в часы уроков. Когда же на время отсутствия Теобальда вести уроки поручалось ей, она обнаруживала к своему сожалению, что порка – единственный выход, и порола сына не менее усердно, чем сам Теобальд, хотя, в отличие от Теобальда, любила своего мальчика, и потребовалось немало времени, прежде чем ей удалось искоренить всякую привязанность к себе в душе своего первенца. Но она настойчиво шла к этому.

# Глава 21

Странно! Ведь она считала, что души в нем не чает, и, конечно же, любила его больше, чем кого-либо из других своих детей. По ее версии происходящего, не существовало родителей, столь самоотверженно преданных благу своих детей, как она с Теобальдом. Эрнеста ждало большое будущее – она была уверена в этом. Это делало строгость тем более необходимой, дабы с первых же лет жизни уберечь его чистоту от всяческой скверны греха. Она не могла позволить себе такой неуемный полет фантазии, которому, как мы знаем по книгам, предавалась каждая еврейская мать семейства перед появлением Мессии – ибо Мессия уже приходил; но вскоре должно было наступить Второе пришествие, никак не позднее 1866 года, и, значит, Эрнест будет уже в подходящем возрасте, когда потребуется современный Илия, чтобы возвестить это Второе пришествие. Небеса ей порукой, она никогда не страшилась мысли о ее собственном и Теобальда мученичестве и не станет уберегать от мученичества своего мальчика, если у нее потребуют его жизнь ради ее Спасителя. О нет! Если бы Бог велел ей принести в жертву ее первенца, как велел Аврааму, она отвела бы его к Пигбэрийскому маяку и вонзила… Нет, этого она не смогла бы сделать, да это и не понадобилось бы – кое-кто другой мог бы сделать это. Недаром же Эрнеста крестили в воде из Иордана. То не было делом ее рук или Теобальда. Они того не добивались. Когда для священного дитяти потребовалась вода из священного потока, нашелся путь, по которому вода эта должна была притечь из далекой Палестины через земли и моря к двери дома, где лежало сие дитя. Ну, конечно же, это было чудо! Несомненно! Несомненно! Теперь она это поняла. Иордан покинул свое русло и притек к ее дому. И нелепо считать, что это не было чудом. Никакое чудо не происходит без тех или иных вспомогательных средств: различие между верующим и неверующим в том и состоит, что первый способен видеть чудо там, где второй не способен увидеть. Евреи не сумели увидеть никакого чуда даже в воскрешении Лазаря и насыщении пяти тысяч. Джон Понтифекс с женой не увидели бы никакого чуда в ситуации с водой из Иордана. Суть чуда не в том, чтобы обойтись без определенных средств, а в использовании средств для великой цели, недостижимой без вмешательства: невозможно и предположить, чтобы доктор Джонс привез ту воду, если бы что-то не направляло его. Она должна сказать об этом Теобальду и заставить его увидеть в… А все-таки, пожалуй, лучше не стоит. У женщин в вопросах такого рода предвидение глубже и безошибочнее, чем у мужчин. Именно женщина, а не мужчина, преисполнилась всей полноты божественности. Но почему не сохранили ту воду как сокровище, после того как использовали? Ее никогда, никогда не следовало выплескивать, но взяли и выплеснули. Впрочем, пожалуй, это и к лучшему: можно было бы впасть в искушение чересчур дорожить ею, а это могло бы стать для них источником духовной опасности, – возможно, даже духовной гордыни – из всех грехов самого ей отвратительного. Что же касается пути, по которому Иордан притек в Бэттерсби, то это имеет значение не больше, чем земля, по который река течет в самой Палестине. Доктор Джонс, конечно, человек суетный, очень суетный. Таким же, с прискорбием сознавала Кристина, был и ее тесть, хоть и в меньшей степени. В глубине души будучи, несомненно, человеком духовным, он становился все более духовным по мере того, как старел, и все же он был заражен суетностью, вероятно, вплоть до самых последних часов перед смертью, тогда как они с Теобальдом отреклись от всего во имя Христа. Они не были суетны. По крайней мере, Теобальд не был. Она раньше была, но не сомневалась, что преисполнилась большей благодати с тех пор, как перестала вкушать удушенных тварей и кровь: это было как омовение в Иордане в сравнении с омовением в Аване и Фарфаре, реках дамасских. Ее мальчик никогда не прикоснется ни к удушенной домашней птице, ни к кровяной колбасе, уж об этом-то она позаботится. У него должен быть коралл из окрестностей Иоппии – на том побережье есть кораллы, так что это можно легко устроить без больших усилий. Она напишет

об этом доктору Джонсу и т. д. И так далее часами день за днем на протяжении многих лет. Да, миссис Теобальд Понтифекс любила своего ребенка, согласно ее системе взглядов, с величайшей нежностью, но грезы, посещавшие ее в ночных сновидениях, были трезвой действительностью в сравнении с теми, каким она предавалась наяву.

Эрнесту шел третий год, когда Теобальд, как я уже говорил, начал учить его читать. И начал пороть спустя два дня после того, как приступил к обучению.

– Это мучительно, – сказал он Кристине, – но только так и можно было поступить. – Так он и поступил. Ребенок был слаб, бледен и хил, а потому неоднократно посылали за доктором, который лечил его большими дозами каломели и джеймсова порошка. Все делалось с любовью, заботой, робостью, глупостью и нетерпением. Они были глупы в малом, а кто глуп в малом, будет глуп и в большом.

Вскоре старый мистер Понтифекс умер, и обнаружилось измененьице, которое он сделал в своем завещании одновременно с выделением доли наследства Эрнесту. Это было довольно трудно вынести, тем более что не имелось никакой возможности сообщить хоть одно из своих соображений завещателю теперь, когда он больше не мог вредить им. Что касается самого мальчика, то каждому должно быть понятно, что это наследство будет для него непреходящей бедой. Оставить молодому человеку малую толику независимости – это, пожалуй, самый большой вред, какой можно ему причинить. Это парализует его энергию и убьет в нем стремление к активной деятельности. Многих юнцов толкнуло на плохую дорожку сознание того, что по достижении совершеннолетия они получат несколько тысяч. Уж им-то, родителям, можно было вверить преданное попечение об интересах их мальчика, а в чем состоят эти интересы, им ведь лучше знать,, чем ему, как ожидается, станет понятно по достижении двадцати одного года. Кроме того, если бы Ионадав, сын Рехава, – или, может быть, проще в этих обстоятельствах говорить прямо о Рехаве, – если бы, стало быть, Рехав оставил значительное наследство своим внукам, то Ионадаву, возможно, оказалось бы не так легко управиться с этими детьми, и т. д.

– Моя дорогая, – сказал Теобальд, обсудив этот предмет с Кристиной в двадцатый раз, – моя дорогая, единственное, что может помочь и утешить нас в такого рода горестях, это найти прибежище в трудах праведных. Пойду-ка я навещу миссис Томпсон.

В такие дни миссис Томпсон сообщалось, что ее грехи отмыты добела и т. д., немного поспешнее и немного категоричнее, чем в другие.

# Глава 22

Я, бывало, наведывался в Бэттерсби на день-другой, когда мой крестник и его брат с сестрой были детьми. Трудно сказать, чего ради я приезжал, ведь мы с Теобальдом все более охладевали друг к другу, но человек иногда идет привычной колеей, и видимость дружбы между мной и Понтифексами продолжала сохраняться, хотя теперь едва ли не в рудиментарной форме. Мой крестник радовал меня больше других их детей, но детской резвости в нем было немного, он походил на хилого маленького старичка – что не могло мне нравиться. Однако настроены эти юные существа были весьма приветливо.

Помню, как Эрнест и его брат в первый день одного из этих визитов вертелись вокруг меня с увядающими цветами в руках и, наконец, протянули их мне. Тогда я сделал то, чего, полагаю, от меня и ожидали: спросил, есть ли поблизости лавка, где они могут купить каких-нибудь сластей. Они сказали, что есть, и я, порывшись в карманах, сумел обнаружить только два пенса и полпенни мелочи. Это я и дал им, и малыши, одному из которых было четыре, а другому три года, тотчас же убежали. Вскоре они вернулись, и Эрнест сказал:

– Мы не можем купить сладости на все эти деньги (я почувствовал себя виноватым, хотя никакого укора в его словах не содержалось). Мы можем купить на это (он показал пенни) и на это (он показал еще один пенни), но мы не можем купить их на все это. – И он присоединил полпенни к двум пенсам.

Полагаю, они хотели купить двухпенсовое пирожное или что-то вроде того. Ситуация показалась мне забавной, и я предоставил им самим справиться с этой трудностью, желая узнать, как они поступят.

Эрнест спросил:

– Можно, мы отдадим вам это (показывая полпенни) и не отдадим вот это и это (показывая пенсовые монетки)?

Я согласился, и они, издав вздох облегчения, радостные отправились своей дорогой. Еще несколько подаренных пенни и маленьких игрушек окончательно их покорили, и они стали мне доверять.

Они рассказали много такого, чего, боюсь, мне не полагалось слышать. Они говорили, что, если бы их дедушка жил дольше, то, вероятнее всего, получил бы титул лорда, и тогда бы их папу называли «достопочтенный» и «ваше преподобие», но дедушка теперь на небесах, и там он с бабушкой Элэби поет красивые гимны Иисусу Христу, который очень их любит. А когда Эрнест был болен, мама сказала ему, что не нужно бояться смерти, так как он отправился бы прямо на небеса, если бы только раскаялся в том, что так плохо делал уроки и огорчал своего папочку, и если бы обещал никогда, никогда больше не огорчать его. И что когда Эрнест оказался бы на небесах, то встретился бы с дедушкой и бабушкой Элэби и навсегда остался бы с ними, и они были бы очень добры к нему и учили бы его петь такие красивые гимны, намного более красивые, чем те, которые он теперь так любит, и т. д., и т. п. Но он не хочет умирать и очень рад, что поправился, потому что на небесах нет котят, и он думает, что там нет и первоцветов, с которыми можно пить чай.

Мать была явно в них разочарована.

– Ни один из моих детей – не гений, мистер Овертон, – сказала она мне как-то за завтраком. – Они не лишены способностей и благодаря стараниям Теобальда не по годам развиты, но в них нет ничего от гениальности: гений – это ведь совсем другое, не так ли?

Разумеется, я подтвердил, что «это совсем другое», но если бы кто-нибудь мог прочесть мои мысли, то прочел бы следующее: «Дайте мне поскорее кофе, сударыня, и не говорите чепухи». Я понятия не имею, что такое гений, но, насколько могу судить, это – глупое слово, которое, на мой взгляд, лучше оставить научным и литературным клакерам.

Не знаю в точности, о чем помышляла Кристина, но склонен вообразить, что о чем-то в этом роде: «Мои дети непременно должны быть гениями, потому что они мои с Теобальдом дети, и это дурно с их стороны – не быть гениями. Но, конечно, они не могут быть такими добрыми и умными, как Теобальд и я, и если бы продемонстрировали признаки того, что они таковы, это было бы дурно с их стороны. К счастью, впрочем, они не таковы, и все же просто ужасно, что они не таковы. Что же касается гения – ну, конечно же – гений должен делать интеллектуальные сальто, едва появившись на свет, а ни один из моих детей до сих пор не умудрился попасть в газеты. Я не позволю моим детям изображать из себя важных персон: достаточно для них и того, что мы с Теобальдом делаем это…»

Бедняжка, она не понимала, что на истинном величии – плащ-невидимка, под прикрытием которого оно пребывает средь людей, оставаясь незамеченным; если такой плащ не скрывает величия от его обладателя навсегда, а от всех прочих – на многие годы, то величие вскоре сокращается до размеров обычной посредственности. Что толку тогда, спрашивается, быть великим? Ответ: благодаря этому можно лучше понимать величие других, как живых, так и умерших, лучше избрать себе среди них компанию, лучше наслаждаться ею и понимать ее; а также благодаря величию можно обладать способностью доставлять удовольствие самым лучшим людям и участвовать в жизни тех, кто еще не родился. Этой, как можно понять, существенной выгоды для величия достаточно – и ему нет нужды тиранить нас высокомерием, пусть даже скрываемым под маской смирения.

Будучи как-то в Бэттерсби в воскресенье, я наблюдал суровость, с какой детей учили соблюдать день отдохновения; по воскресеньям им нельзя было вырезать что-нибудь ножницами, а также пользоваться набором красок. Выносить этот запрет им было довольно трудно, потому что их кузенам, детям Джона Понтифекса, все перечисленное дозволялось. Их кузены могли по воскресеньям играть со своим игрушечным поездом. И хотя дети в Бэттерсби обещали, что будут пускать только воскресные поезда, всякое движение было запрещено. Только одно удовольствие разрешали им в воскресные вечера: они могли выбрать, какие гимны петь.

Наступил тот момент вечера, когда они вошли в гостиную. и в качестве особой милости им позволили спеть мне некоторые из гимнов, а не просто прочитать вслух, – чтобы я мог послушать, как хорошо они поют. Эрнесту первому выпало выбрать гимн, и он выбрал тот, где говорится о людях, которые должны придти к закатному древу. Я не ботаник и не знаю, что такое закатное древо, но начинался гимн такими словами: «Придите, придите к закатному древу, ибо день уже миновал». Мелодия была довольно приятной и нравилась Эрнесту: ведь он необычайно любил музыку, имел милый детский голосок и наслаждался собственным пением.

Но он очень долго не мог научиться правильно произносить звук «р» и вместо «придите» у него получалось «плидите».

– Эрнест, – сказал Теобальд, сидевший в кресле у камина, скрестив руки, – тебе не кажется, что было бы очень хорошо, если бы ты произнес «придите» как все люди, вместо этого «плидите»?

– Я и говорю «плидите», – отозвался Эрнест, имея в виду, что он произносит «придите».

Воскресными вечерами Теобальд всегда бывал в плохом настроении. То ли из-за того, что в этот день священникам бывает так же скучно, как и их ближним, то ли из-за того, что они утомлены, но по той или иной причине священники редко бывают в хорошем расположении духа в воскресенье вечером. Я уже заметил в тот вечер у хозяина дома признаки раздражения, и немного встревожился, услышав, как Эрнест тотчас ответил «я и говорю „плидите“», когда папа сделал ему замечание, что он не выговаривает это слово как следует.

Теобальд мгновенно отреагировал на то, что ему противоречат. Он встал с кресла и подошел к фортепьяно.

– Нет, Эрнест, – произнес он, – ничего подобного, ты говоришь «плидите», а не «придите». Теперь повторяй за мной «придите» так, как произношу я.

– Плидите, – тут же выпалил Эрнест, – так лучше?

Без сомнения, он думал, что так лучше, но это было не так.

– Что ж, Эрнест, ты не прилагаешь требуемых усилий, ты не стараешься, как должен стараться. Тебе давно пора научиться говорить «придите», вот ведь Джо умеет говорить «придите», не так ли, Джо?

– Да, умею, – тут же отозвался Джо и произнес нечто, отдаленно напоминающее «придите».

– Вот, Эрнест, ты слышал? Здесь нет ничего трудного, ни малейшей трудности. Теперь не торопись, сосредоточься и повтори «придите» вслед за мной.

Мальчик помолчал несколько секунд и затем снова сказал «плидите».

Я рассмеялся, но Теобальд в раздражении повернулся ко мне со словами:

– Пожалуйста, не смейся, Овертон; мальчик может подумать, что это пустяки, а тут дело очень важное. – Затем, обернувшись к Эрнесту, сказал: – Что ж, Эрнест, я дам тебе еще один шанс, и, если ты не скажешь «придите», я буду считать, что ты своеволен и непослушен.

Он выглядел очень сердитым, и тень пробежала по лицу Эрнеста, как она пробегает по мордочке щенка, когда того бранят, а он не понимает, за что. Ребенок хорошо знал, что ему предстоит, был испуган, и, конечно же, снова произнес «плидите».

– Хорошо же, Эрнест, – промолвил отец, в гневе хватая его за плечо, – я сделал все возможное, чтобы спасти тебя, но если ты намерен добиться своего, то добьешься… – И он потащил беднягу прочь из комнаты, плачущего в ожидании предстоящего.

Прошло несколько минут, и мы услышали крики, доносящиеся из столовой через коридор, отделяющий гостиную от столовой, и поняли, что бедного Эрнеста бьют.

– Я отправил его спать, – сказал Теобальд, возвратясь в гостиную, – а теперь, Кристина, думаю, мы позовем слуг на молитву. – И рукой, на которой были видны красные пятна, он позвонил в колокольчик.

# Глава 23

Вошел лакей Уильям, чтобы поставить стулья для прислуги, а через минуту друг за другом вошли остальные: сначала горничная Кристины, затем кухарка, следом служанка, убирающая дом, за ней все тот же Уильям и последним кучер. Я сел напротив них и наблюдал за их лицами, пока Теобальд читал главу из Библии. То были милые люди, но более полного отсутствия интереса я никогда не видел на человеческих лицах.

Теобальд начал с чтения нескольких фрагментов из Ветхого Завета, следуя какой-то собственной системе. На этот раз отрывок был взят из пятнадцатой главы Книги Чисел. Он не имел прямого отношения к тому, что только что произошло на моих глазах, но дух, которым все там проникнуто, казался мне настолько соответствующим духу самого Теобальда, что, услышав этот отрывок, я смог лучше понять, как он пришел к тому, чтобы думать так, как думал, и действовать так, как действовал.

Строчки были следующего содержания:

> «Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего.
>
> Ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней.
>
> Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы.
>
> И привели его нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу.
>
> И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать.
>
> И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана.
>
> И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею.
>
> И сказал Господь Моисею, говоря:
>
> объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти.
>
> И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших…
>
> Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим.
>
> Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш».

Пока Теобальд читал все это, мысли мои блуждали и обратились к одному небольшому событию, которое я наблюдал во второй половине дня.

Так случилось, что несколько лет назад рой пчел обосновался под черепицей крыши дома и так размножился, что пчелы часто залетали в гостиную летом, когда окна были открыты. Рисунок на обоях гостиной изображал букеты красных и белых роз, и я видел, как пчелы, бывало, подлетали к этим букетам и усаживались на них, принимая их за живые цветы; они перебирались с одного букета на другой, много раз повторяя попытку за попыткой, пока не добирались до того, который был под самым потолком, затем спускались с букета на букет

в той же последовательности, в какой поднимались, пока не оказывались у спинки дивана, после чего вновь следовал подъем к потолку с букета на букет, потом спуск и так далее, и так далее, пока мне не надоело наблюдать за ними. Когда я думал о семейных молитвах, повторяющихся каждый вечер и каждое утро неделя за неделей, месяц за месяцем, из года в год, я не мог отделаться от мысли, до чего же это похоже на тот путь, который пчелы проделывали вверх и вниз по стене, с букета на букет, нимало не подозревая о том, что среди связанных между собою образов безнадежно и навсегда отсутствует единственно нужный.

Когда Теобальд закончил чтение, все мы опустились на колени, и Карло Дольчи с Сассоферрато смотрели вниз на множество согнутых спин, пока мы склоняли наши лица к стульям. Я отметил, что Теобальд молится о том, чтобы нам было даровано пребывать «поистине честными и добросовестными» во всех делах наших, и улыбнулся, услышав, как он добавил слово «поистине». Вновь мои мысли вернулись к пчелам, и я подумал, что, в конце концов, пожалуй, хорошо – во всяком случае, для Теобальда, – что наши молитвы редко получают какой-либо обнадеживающий ответ, так как, подумалось мне, если бы имелся хоть малейший шанс, что моя молитва будет услышана, я бы помолился о том, чтобы в ближайшем будущем кто-нибудь обошелся с ним так же, как он обошелся с Эрнестом.

Затем я перенесся мысленно к тем подсчетам, которые люди совершают относительно пустой траты времени, исчисляя, сколько можно сделать, если не тратить попусту хотя бы десять минут в день, и я как раз думал о том, какое неуместное предложение я могу сделать насчет траты времени на семейные молитвы, к которым следует в то же время быть терпимым, когда услышал, как Теобальд произнес: «Милость Господа нашего Иисуса Христа». Через несколько мгновений церемония была закончена, и слуги в том же порядке друг за другом вышли из комнаты, как входили в нее.

Как только они покинули гостиную, Кристина, немного стыдившаяся сцены, свидетелем которой я оказался, неблагоразумно возвратилась к ней и начала оправдывать, говоря, что это разрывает ей сердце и еще больше разрывает сердце Теобальду, но что «это единственное, что приходится делать».

Я отреагировал на ее слова так холодно, как только позволяли приличия, и, храня молчание в продолжение остальной части вечера, демонстрировал, что не одобряю увиденного.

На следующий день мне нужно было возвращаться в Лондон, но накануне отъезда я сказал, что хотел бы взять с собой немного свежих яиц, а потому Теобальд отвел меня в дом одного крестьянина, который жил неподалеку и мог бы продать мне их. Эрнесту по какой-то причине тоже позволили пойти с нами. Вероятно, куры только начали нестись, во всяком случае, яиц было мало, и жена крестьянина смогла найти для меня не больше семи-восьми штук; каждое мы завернули в бумагу, чтобы я благополучно довез их до города.

Операция эта производилась на земле у входа в дом, и, пока мы занимались ею, маленький сын крестьянина, мальчик примерно тех же лет, что и Эрнест, наступил на одно из завернутых в бумагу яиц и раздавил его.

– Ну вот, Джек, – сказала его мать, – погляди, что ты натворил: раздавил хорошее яйцо, значит, пенни долой. Эй, Эмма, – добавила она, зовя дочь, – забери ребенка, ох уж этот постреленок.

Эмма тотчас подошла и увела малыша, чтобы он не натворил чего-нибудь еще.

– Папа, – спросил Эрнест после того, как мы покинули тот дом, – а почему миссис Хитон не побила Джека, когда он наступил на яйцо?

Я не без злорадства адресовал Теобальду мрачную усмешку, яснее слов говорившую, что, по-моему, Эрнест попал не в бровь, а в глаз.

Теобальд покраснел и нахмурился.

– Полагаю, – поспешно ответил он, – что мать побьет его после нашего ухода.

Я не собирался стерпеть такой ответ и сказал, что не верю этому; на том разговор и кончился, но Теобальд не забыл о нем, и с тех пор я стал реже бывать в Бэттерсби.

По возвращении мы узнали, что приходил почтальон и принес письмо, в котором сообщалось о назначении Теобальда настоятелем церковного округа: это место в последнее время оставалось вакантным после кончины священника соседнего прихода, исполнявшего эту обязанность много лет. Епископ с особой теплотой писал Теобальду, заверяя, что ценит его как одного из самых усердных и преданных делу приходских священников всей епархии. Кристина, конечно, была в восторге и дала мне понять, что это лишь начало пути к гораздо более высокому сану, уготованному Теобальду в будущем, когда его заслуги получат более широкое признание.

Тогда я не мог предвидеть, какими тесными узами в последующие годы окажутся связаны жизнь моего крестника и моя собственная. Если бы я предвидел это, то, несомненно, смотрел бы на него другими глазами и заметил много такого, на что в то время не обращал внимания. В тех обстоятельствах я был рад уехать, поскольку ничего не мог для него сделать или предпочитал думать, что не могу, а вид такого глубокого страдания был для меня мучителен. Человеку следует не только, по возможности, идти своим собственным путем, но и иметь дело только с тем, что, по крайней мере, не внесет разлада в его жизнь. Кроме как в исключительных обстоятельствах, на краткие периоды времени, ему не следует даже смотреть на то, что оказалось обезображено или изуродовано, не говоря уж о том, что ему не следует есть мясо животных, которых замучили изнуряющим трудом или недоеданием, либо пораженных какой-нибудь болезнью; не следует касаться и овощей, которые выращивали неправильно. Так как все это переходит в человека; все, с чем человек соприкасается, тем или иным образом переходит в него, делая его лучше или хуже, и чем лучше то, что переходит в него, тем выше вероятность, что он будет жить долго и счастливо. Все должно вступать в некоторое взаимодействие, иначе оно перестанет существовать, но непорочное, как, например, святые Джованни Беллини, взаимодействует только с тем, что по-настоящему хорошо.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.